

К. МЕДВЕДЕВИЧ

КЛАДЕЗЬ БЕЗДНЫ

Истина подобна льву.
Ты отвернешься — она тебя растерзает



ЛЕГИОН

Ксения Медведевич Кладезь бездны

Серия «Страж Престола», книга 3

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9811523
Ксения Медведевич. Кладезь бездны: АСТ; Москва; 2014
ISBN 978-5-17-082071-9*

Аннотация

Так бывает, что ужасы из страшных рассказов оказываются сущим пустяком по сравнению с обыденностью военного похода. Армия халифа аль-Мауна воюет со странной сектой карматов, последователи которой проповедуют равенство, братство и скорый рай на земле. Воинов стращали нечистью и нелюдью, но все оказалось гораздо хуже: люди сталкиваются с превосходящими в числе армиями противника, трусостью военачальников, предательством братьев по оружию, голодом и... местными жителями, для которых слова «быть человеком» давно означают что-то другое. Поэтому, встретив наконец нечисть, многие вздохнут с облегчением: убивая чудовище, можно не искать оправданий. Но гражданская война – это всегда война между людьми, и в конечном счете неизбежен вопрос: все ли она спешет? И кому придется платить по счетам?

Содержание

Пролог	6
1	21
2	137
Конец ознакомительного фрагмента.	182

Ксения Медведевич

Кладезь бездны

*Автор выражает признательность историку
М. В. Нечитайлову за консультации и неоценимую
помощь в работе над книгой*

© К. Медведевич, текст, 2014

© Оксана Ветловская, иллюстрации, обложка, 2014

© ООО «Издательство АСТ», 2014

* * *

Пролог



Храм Ве Ниэн, Айютайа

Две высоко горевшие свечи освещали золотое лицо статуи.

Богиня улыбалась – устало, чуть прикрыв глаза.

Впрочем, очерк сомкнутых полных губ виделся всякий раз по-разному. Усталым. Печальным. Горько упрекающим. Скорбным.

Милосердная смотрела на молящихся с высоты шести локтей пьедестала, чуть откинув назад голову в остроугольной короне. Скругленная раковинкой ладонь благословляла припадавших к ее ногам. Ве Ниэн – последнее прибежище отчаявшихся. В храм приходили те, чьему горю не могли помочь ни оружие, ни деньги, ни месть, ни утешения родных

и друзей. И еще те, у кого не осталось иных защитников. И те, кому некуда больше было идти, – за стеной слышался мерный грохот океана. Храм стоял над обрывом, на обрыв накатывали пологие холмы ледяной воды. Такая волна встает далеко на севере и, не обращая внимания на острова, проливы, корабли и берега, катится к этому обрыву. И бьет в него – с гулкой, страшной силой, останавливающей на мгновение время. Удар сотрясает скальное основание, привычной дрожью отдает в землю под соседней деревенькой. А следом накатывает такая же льдисто-синяя, беспенная, вспухающая перед ударом волна.

Гул, грохот, шипение пены в расселинах камня.

Еще в храм приходили за безумной надеждой. От таких оставались колечки, ленточки, сережки, пояса и даже тяжелые многорядные ожерелья, какие носят во дворцах. Приношения развешивали на шнурках и лентах, перетягивающих основание пьедестала статуи.

Милосердная устало улыбалась, чуть прикрыв веки: да, да, я сделаю, что смогу. Она никогда не смотрела снисходительно, но и жалостливым ее взгляд тоже не был. Ве Ниэн знала: всякая судьба в этом мире имеет корни в деяниях прошлого. Ее сестра, Ве Фуи, ткет длинное полотно, посматривает, поджав губы, на переплетения нитей. Они путаные, эти нити судьбы, они бугрятся узелками, и ткань выглядит уродливой. Как деяния тех, чьи жизненные пути ложатся суровой ниткой вслед за снующим челноком богини.

Сидевший перед чашей со священной водой монах знал о деяниях и судьбах очень много – пожалуй, слишком много, иначе с чего бы Луанг Най принял постриг в храме богини милосердия.

По бокам от чаши стояли витые свечи: белый воск горел ровно и высоко, капельки длинными наростами стекали на гирлянды из гибискусов. Розовые лепестки верхних цветов уже скукожились от горячих восковых слез.

У самых колен монаха темнел деревянный поднос с разровненным песком. Начиная медитацию, Луанг Най медленно стер ладонью нарисованные на песке узоры мандалы. Над ее сложным плетением он трудился с самого утра: чертил длинной тиковой палочкой, поливал водой из чашки, увлажняя песок. Чтобы стереть символ жизни, ему потребовалось гораздо меньше времени. Разровняв рисунок, монах положил на пустой песок сложенный пополам листик.

Волны горячего воздуха от свечей и ламп чуть колыхали тонкую рисовую бумагу, и она подрагивала, словно готовясь вспорхнуть.

Настоятель Луанг Най перебирал четки и мерно читал священные тексты, не отпуская глазами сложенный листок. Крупно выписанные иероглифы едва просвечивали сквозь тончайшую бумагу, но Луанг Наю не нужно было смотреть на буквы, чтобы знать, что там.

Королевский каллиграф написал на нем ежегодно отправляемую в храм Ве Ниэн молитву об упокоении души госпо-

жи Варачонг и ее малолетнего сына, короля Чао.

Листок принесли сегодня вместе с обычными подношениями, которые двор сорок шесть лет подряд высылал в пятый день месяца тигра: каллиграфически переписанные священные свитки, музыкальные инструменты и мешки риса.

Все сорок шесть лет, каждый год в пятый день тигра на двор храма привозили из дворца эти дары и листок с именами женщины и мальчика.

Потому что сорок шесть лет назад у ограды храма вырыли большую прямоугольную яму и расстелили ковер малинового королевского цвета. Сначала на этот ковер посадили короля Чао, которому едва исполнилось пять лет. Мальчик плакал и говорил, что хочет домой, и все теребил широкую золотую королевскую перевязь на пыльном голеньком животе. Собравшиеся вокруг крестьяне и жители столицы лежали ниц, припав лицами к земле. День стоял пасмурный и ветреный, пальмы трепало под пыльным ветром, и малиновый шелк на спинах придворных дам гляделся серой грязной тряпкой. Дядя короля Чао, сидевший на галерее храма прямо в доспехе, – он взял королевский дворец приступом буквально утром – позволил госпоже Варачонг успокоить малыша. Та протянула руку и сказала: «Не бойся, мой маленький, мама с тобой». Потом всхлипывающего мальчика накрыли алым шелком, наклонили к лежавшему перед ковром стволу дерева и отсекли голову церемониальным мечом.

Госпожа Варачонг ступила на ковер следом. От шелкового

покрывала она отказалась.

Листик вдруг всколыхнулся особенно сильно. В скалу под храмом снова ударил плечом океан. За тяжелой кладкой стены посвистывало и шелестело пеной и ветром.

Прислушавшись к шелесту, Луанг Най взял с расстеленной у колен циновки жезл с длинной красной кисточкой. Встряхнул раз, другой, не прекращая распевно читать Изумрудную сутру. Листок успокоился.

Золотые львы у стен зала сидели неподвижно, тупо раскрыв слепые выпуклые глаза.

Настоятелю оставалось прочесть меньше трети свитка, как за дверями раздался стук. Как всегда, глухой и вместе с тем остро впивающийся в слух. Как будто костю ударили о кость.

Один из сидевших за спиной Луанг Ная послушников всхлипнул.

Кости громко клацнули снова.

Повысив голос, – мерный речитатив тут же загулял по храму гулким эхом – монах поднял жезл и принялся встряхивать его в такт с распевом. Лицо Луанг Ная оставалось безмятежно-спокойным. Только костяшки пальцев, стиснувшие четки, побелели.

Пятеро монахов и трое послушников, сидевших за его спиной, знали, что может увидеть путешественник, волею злой судьбы оказавшийся у дверей храма. Они и сами видели это: иногда тени под высокими стрелками надгробий начина-

ли шевелиться задолго до заката, задолго до того, как тяжелые створы захлопывались и задвигались изнутри засовом. И заклеивались длинными полосами бумаги, сплошь исписанными сутрами.

На храмовом кладбище лежали многие поколения королей Айютайа, их жен, детей, родичей и родичей их родичей. В том числе и семья Луанг Ная – он не пропускал поминальные дни и часто приходил в заплетшийся мангровыми ветвями уголок кладбищенского сада. Надгробия короля Чао и его матери днем терялись среди гранитных стел. Ближе к вечеру каменный столбик с конусовидной шляпкой наверху начинал странно темнеть и двоиться в глазах. На закате второе зрение уже видело сидящего с прямой спиной мальчика. А с наступлением темноты от столбика повыше гибкой тенью отделялась госпожа Варачонг. И принималась прогуливаться среди частокола надгробий, рассеянно трогая белесой рукой наверху памятников.

Ну а в ночь пятого дня месяца тигра госпожа Варачонг брала мальчика за руку и шла к дверям храма.

Клац. Клац. Словно сторож отбивает колотушкой стражу. За сплошными, лишенными окон, стенами храма крепчал ветер. Неведомо откуда залетевшие сквозняки затрепали, задергали крылышко лежавшего на песке листка.

Луанг Най заговорил громче. Ветер грохнул тяжеленными створами дверей, скрипнул деревом и скобами. Тоненький треск рвущейся бумаги потерялся в гуле накатывающих

волн.

Настоятель снова повысил голос. Теперь он почти кричал: отрывисто, повелительно, выкликая имя за именем властителей небесных войск, тех, кто царствовал и упокоился на Золотой горе.

В щелях скрипящей, словно негодная доска, двери свистело. За вздрагивающими створами выло.

Покрытые испариной послушники украдкой поглядывали через плечо: из девяти бумажных лент с сутрами держались две.

Безо всякого дуновения листок медленно поднялся над песком на высоту двух ладоней. Луанг Най властно махнул в его сторону жезлом и выкрикнул имя Учителя Фо. Листок упрямо задрожал на той же высоте.

И тут по храму прокатился тягучий долгий звон – с левой колонны обвалился и покатился по каменному полу медный гонг.

А снаружи донеслись залиvistый свист и злобные жадные вопли. И drobный топот копыт десятков коней.

Листок, подрожав чуть-чуть в сладострастной злобе, медленно, удовлетворенно опустился на песок и затих там невинной бумажкой.

Луанг Най вздохнул и отложил бесполезный жезл. Снаружи орали и звенели оружием какие-то вооруженные – люди? Сумеречник удивленно обернулся к остальным:

– Это действительно люди, наставник, – тихо сказал под-

кравшийся к дверям Джин-хо.

Его голые лопатки блестели от пота, намотанная под ними желтая ткань мокро темнела – послушника еще не отпустила дрожь пережитого ужаса. Непонятные налетчики громко орали во дворе храма, в щели между створами метался свет факелов.

В двери ударили чем-то огромным и тяжелым, Джин-хо шарахнулся.

Луанг Най снова посмотрел на листок. Тот не подавал признаков жизни – беленькая, сложенная пополам записка на дорогой бумаге.

Грохнуло снова, двери угрожающе заскрипели.

– Ну что ж вы так, тетушка, – осуждающе пробормотал монах. – Разве можно приводить на семейное кладбище такое отребье. Мало того что разбойники, так еще и люди...

В створы явно били тараном – щель расширилась, разорванные и обвисшие ленточки сутр бессильно дрыгались с каждым мощным ударом. Джин-хо отошел к стене и выжидательно поглядывал то на наставника, то на жалующуюся во все скрепы дверь. Снаружи хохотали и возбужденно орали, ржали десятки лошадей.

– Мерзавцы, – тихо сказал Луанг Най.

Таран ударил еще раз, и на каменный пол полетели щепы. До сей поры ни один разбойник не осмеливался осквернить святилище Ве Ниэн – из почтения к праву убежища, которым те же разбойники охотно пользовались. Но вот лю-

ди... Людей храм видел впервые.

Граница с айсенами – длинная полоса белого, заваленного гниющими водорослями песка вдоль высокой скальной стены – тянулась с севера на юг и оканчивалась в двух йоутах отсюда, у самой рыбацкой деревни. С севера по песку мало кто приходил: люди боялись приливов, по высокой воде море подступало к самым скалам. Утонуть сложно, но можно, а айсены не очень-то любили воду и плавать. А тут целая толпа, верхами и вооруженная...

Дверь вспучивалась под ударами, остро торча щепками, как переломанными костями. Брус засова гнулся, но держался.

Луанг Най поманил восьмерых служителей и отступил к стене под высоким барельефом с небесными полководцами и высунувшими языки тиграми. Потом приложил ребро ладони ко лбу, выдохнул – и отсек от себя пространство резким ударом.

Поэтому те, кто вышиб из прогнувшихся скоб засов и пролез в раскуроченные двери, не увидели в храме ни души.

Настоятель, поджав тонкие губы, шурил желтые глаза и пощипывал мочку острого уха: айсены лезли, как тараканы, скрипя, как хитином, кожей панцирей. Жадно, разевая мокрые, заросшие черным волосом рты, тарасились на мерцающую внутренность освещенного золотом по золоту храма. Цокали языками и тыкали толстыми грязными пальцами в расписанный драконами потолок. Топали и гремели по поли-

рованному полу набойками пыльных сапожищ. Дергали себя за жесткие, как пакля, бороды, скалили зубы и пихались локтями, довольно погогатывая. От них пахло лошадьё и застарелым потом – аромат курильниц перешибала вонь давно не мытых тел.

Но ничего не трогали – почему-то. Ни золотых львов вдоль стен. Ни курильниц в виде высокой, как ступенчатая башня храма, короны – тоже золотых. Только реготали, тыкали пальцами и тарасились.

Скрипя просевшими досками по камню, растворили пошире дверь.

И, пощелкивая плетьюми, погнали внутрь вереницу связанных крестьян: женщины визжали, дергая спутанными запястьями, мужчины упирались босыми пятками, крутя за спиной вывернутыми локтями. Здоровенные, на голову выше любого айютайца, люди пихали пленников, подхлестывая обнаженные спины и раздавая подзатыльники.

Нехорошее предчувствие, одолевавшее Луанг Ная еще с полудня, сгустилось в уверенность и переросло в мрачное ожидание. Он не мог понять одного: зачем? Зачем они хотят это сделать?

Первой на колени перед статуей поставили вдову Цао – Луанг Най узнал ее по широкой выносливой спине и длинным серьгам в оттянутых ушах. Не зря он прошлой весной предсказал ей смерть от железа. Женщина почему-то очень боялась утонуть в приливной волне тайфуна, но настоятель

подарил ей несомненную уверенность в том, что она не захлебнется в соленой воде.

Ухватив женщину за узел волос на затылке, человек отогнул ей голову так, что бедняжка захрипела, хватая ртом воздух. И глубоко взрезал выгнувшуюся под кожей гортань. Кровь запылила высоким шумным веером. Цепочки и колечки на пьедестале потекли красным.

Крестьяне голосили и бесполезно рвались в путах. Айсены резали очередное горло, а потом складывали дрожащие в агонии тела в промокшую, торчащую босыми ступнями кучу. Жители деревни уходили один за другим, трупы наваливали третьим слоем, размотавшиеся черные волосы и тряпки подтекали красным на каменные плиты.

Золотое лицо Милосердной безжизненно затвердело под алой моросью. Оскальзывающиеся в лужах айсены деловито хмурились, примериваясь лезвиями к шеям плачущих крестьян. Подвернутые ноги сидящей богини стали темными от крови. Настала очередь молодого Вьена – еще одно вскрытое горло плеснуло упругой длинной струей на колени статуи.

В руках айсенов еще хрипела вдова Сой – плохая судьба у этой семьи, уже в трех поколениях плохая, зря он одобрил помолвку их дочери с кузнецом из столичного предместья, злая удача может перейти к семейству Ва и погубить детей – как в зал проникло нечто, заставившее замерзнуть босые ступни Луанг Ная.

Монахи и послушники за его спиной с шумом втянули в

себя воздух. Настоятель мог бы испугаться – завесу невидимости рвут любое неосторожное движение или звук. Но не испугался.

Он просто окоченел от ужаса.

Луанг Най потом вспоминал, что в тот миг забыл, как дышать: в раскрытые двери храма влилась Сила. Светящийся шар, распираемый изнутри потусторонней жутью и мощью. В белесом мерцании этой мерзости айсены один за другим теряли человеческий облик, прорастая петушиными головами и склизко блестящими клубками змей внутри грудной клетки.

Истекающий гнилостным светом шар подплыл к безобразной груде мертвых тел. Подрожал над ней – плотоядно, как наставленный член готового к совокуплению жеребца. А потом вспыхнул, мгновенным, моментальным движением метнулся к статуе – и с чваканьем втянулся внутрь прямо в том месте, где на груди богини выгравировано было широкое, царственное ожерелье.

Из рассказов о деяниях правителей и хроник:

В 485 году аята халиф аль-Амин разбудил Тарика аль-Мансура ради борьбы с карматами.

В том же году эмир верующих приказал заложить верфи и строить флот, дабы переправить войска в земли еретиков. Карматы же укрепились в аль-Ахсе и

совершали дерзкие набеги на земли халифата.

Всевышнему было угодно, чтобы между аль-Амином, сидевшем на золотом престоле халифов, и его братом аль-Мамуном случилась размолвка, и сказанные между ними резкие слова обратились во вражду, и в государстве началась смута.

Аль-Мамун двинул свои войска на столицу, и Всевышний судил так, что во время осады города аль-Амин погиб вместе с харимом. Жители Мадинат-аль-Заура приветствовали нового халифа и вышли к нему в цветах его дома, а Ситт-Зубейда, мать покойного властителя, сказала: «Я потеряла одного сына, а с аль-Мамуном приобрела другого». Все, испросившие прощения, получили его, и старые распри были позабыты.

Осенью 488 года аята еретики-карматы, подобные шакалам пустыни, набросились на святой город Медину. Многие приняли венец мучеников в страшное время осады, и лишь приход войск сиятельного принца Ибрахима аль-Махди уберег жителей от мучительной смерти под мечами налетчиков.

Зимой 489 года окончены были труды по строительству флота, и в Басру прибыл халиф аль-Мамун со свитой. Туда же стекались войска, созданные эмиром верующих ради священного похода против карматов, туда стремились воины-гази.

Что же до судьбы Тарика, то достоверно известно, что в царствование аль-Амина он попал в опалу и был отстранен от командования. Многие ученые

мужи также утверждают, что и в глазах нового халифа аль-Мансур не нашел благоволения и долгое время пребывал в немилости. Рассказывают, что эмир верующих заточил Тарика в замке Мейнха и под разными предложениями отказывался освободить его. Другие говорят, что халиф отправил Тарика с тайным поручением в пустыню, и тот год провел, скитаясь с бедуинами среди песков, в поисках ответов на странные вопросы, недоступные разуму смертных.

Тем не менее с началом похода на карматов эмир верующих счел разумным вызвать аль-Мансура к войскам в Басру.

Ибн аль-Кутыйя, «Всемирная история»

Из отчета ведомства барида после штурма Медины:

Во имя Всевышнего, милостивого, милосердного, наши известия хороши, а не дурны.

Карматы отброшены.

Дело, ради которого в Медину приехал каид Марваз, разрешилось к удаче. Нерегиль схвачен, мы вручили ему фирман с предписанием немедленно прибыть в ставку халифа.

Агентам разослано шифрованное уведомление: «кот пойман».

Каиду Марвазу с отрядом дан приказ препроводить нерегиля в Басру. Прошу обеспечить надлежащие

меры охраны, негласный надзор, а также безопасность агентов. Даже если нерегиль не вооружен, следует считать, что он вооружен и крайне опасен.

Абу аль-Хайр ибн Сакиб, глава отделения в Ятрибе и Медине

Из отчета ведомства барида в Хире:

Каид Марваз с людьми, отрядом маридов и подопечным прибыли в город. В Хире все спокойно. Сводный отряд джиннов ведет себя согласно предписаниям и установлениям. Да будет славен Всевышний.

1

Звезда погибели

Ханьский квартал Хиры, некоторое время спустя

Расталкивая лбом бумажные фонарики, каид Марваз перся вверх по улице – как бык. Полые сферы с шелестом наступались, мелодично позвякивали свисавшие с них металлические трубочки, и каид шел сквозь тоненький звон и перешептывания. Полуденная улица спала, только пыльные шарики фонарей неуместными гроздьями качались на ветру.

Зеленые с золотом драконьи морды водостоков свешивались к плечам, в пустых темных проемах лавок безмятежно сидели львы в пол человеческого роста – из крашеной глины львы, конечно. Хозяева лениво высовывали головы на звон, щурили и без того узенькие глазки и медово улыбались: не угодно ли чего почтенному господину? Одинаковые лица, одинаковые черные шапочки, из-под шапочки по низко склоненной, затянутой в шелк спине змеится косичка.

– Долго еще?

По зимнему времени не припекало, но пылить шлепанцами по солнечной стороне улицы было не вмоготу.

Мелко трусивший перед Марвазом ханец извернулся и оскалил желтые крупные зубы:

– Не изволь беспокоиться, сайида, уже совсем скоро придем...

Сзади покаянно засопел посредник – вот кому Марваз отвесил бы плюху с превеликим удовольствием. А как же: почтеннейшему угодно поглядеть на самое большое в Куфе зеркало? Воистину, Всевышний свидетель, за таким зеркалом мой господин, это светило мужества и благородства, украшение воинства халифа и девиз храбрецов должен отправиться в ханьский квартал, где Абу Касим покажет ему такое зеркало, да проклянет меня Всевышний и да вычеркнет из списков, предназначенных к спасению в день Последнего суда, если Абу Касим врет...

Так посредник – юлящий и извивающийся гаденьш из Бану Худ – улещивал Марваза сегодня утром. К полудню каид успел выпить чайник отвратительного пустого чая в лавке торговца древностями на базарной площади Хиры – это туда его заташил вертлявый языкатый змей из племени первостатейных обманщиков. Да уж, про Бану Худ говорили, что те способны продать верблюда его же хозяину, а что есть Хира как не столица мошенников и сынов нерадивости из племени, умудрившегося обобрать даже Благословенного, когда тот прибыл из пустыни с караваном ансаров...

Ну так вот, сначала каид Марваз надулся этим чаем из веника. Потом в лавку прибежал ханец-посыльный и, весь истекая потом под стеганным синим халатом, принялся мяукать на своем кафирском языке с посредником. И вот мяу-

кали они и мяукали – от второго чайника на венике Марваз предусмотрительно отказался – а потом домяукались, видно, до соглашения – не иначе как преступного и обманного! – и повели Марваза к воротам в ханьский квартал. Торчащая красными стрехами, огромная арка каиду сразу не понравилась – тьфу, а уж драконьих тварей там изваяно было несчетное количество, и все они скалили на правоверного свои кафирские зубищи. Там, среди клянчащих подаяние колодников, продавцов вертушек и бродячих фокусников, они долго толкались, пока не наткнулись на этого ханьца, что сейчас трусцой бежит впереди, то и дело оборачиваясь и скалясь в улыбке, которая, наверное, кажется ему доброжелательной.

А время уже, между прочим, приближается к полудню! А ведь он, Марваз, хотел сходить сегодня в баню – позавчера мылся, шутка ли сказать! Но не сходил. Ибо попался на глаза Сейиду. Господин нерегиль как раз заканчивал какой-то разговор с молодым маридом, а Марваз беспечно шел мимо с тюком свежей одежды.

– Мне нужно зеркало, Марваз, – сказал Сейид.

В Хире, как известно, нет караван-сараев и постоянных дворов: в землях Бану Худ, так же как и в Хорасане, за прием путников отвечает амир города, расселяя путешественников по домам горожан. Именно поэтому их определили на постой в большом пустующем доме на краю кладбища: с гвардейским отрядом от самых оазисов Лива шло маридское ополчение, а местные побаивались маридов. Непонят-

но, правда, с чего: джинны как джинны, правоверные, обликом не особо страшные, если уж на то пошло. Ну да, днем они предпочитали спать по колодцам, а ночью догоняли – с приятным уху посвистом, стелющимися огоньками они возникали вокруг лагеря и разбегались по камням: кто ящеркой, кто змейкой, а кто и в человеческом облике к костру присаживался.

В городе марида все как один приняли вид людей. Правда, джинн обязан от настоящего человека отличаться: знающий всегда увидит наводящую на размышления метку. Марид в людском виде либо крив на один глаз, либо хром, либо побит оспой, либо косоглаз. Джинн, с которым разговаривал господин нерегиль, имел на правой руке шесть пальцев. Ну и глаза у них у всех красным отливают, это точно. И борода, если приглядеться, завивается внизу темным дымком. Но бояться все равно нечего – а хирцы боялись до усрачки и загнали их на постой на самую окраину у Старого кладбища.

Так вот, зеркало.

– Мне нужно очень большое зеркало, Марваз, – задумчиво заметил Сейид.

И показал, насколько большое, разведя руки на величину большого арбуза.

Марид, тем временем, вспыхнул ярко-желтым пламенем и с коротким хлопком улетучился. И так засиделся до позднего утра, на боковую отправился, не иначе.

– Купить не выйдет, – рассудительно ответил каид. – Зеркало хорошей полировки такого размера стоит дороже, чем все наши кони под седлом. Придется брать в аренду.

– Ну так возьми, – пожал плечами Сейид.

И отправился в сад медитировать.

В Хире они застряли, похоже, надолго, и господину нерегилю оставалось только медитировать – не по певичкам же ему ходить в веселом квартале, в самом-то деле. Впрочем, Марваз был благодарен судьбе за передышку после долгой дороги в пустыне. Им даже не пришлось отбиваться от налетчиков-бедуинов – а между прочим, поговорка «нападение бедуинов на караваны паломников» уже давно входила во все словари ашшари.

Но спешили они так, что в Куфе провели только ночь – эх, обидно, так и не увидели они тамошнюю Пятничную маджид! Говорят, в молельных залах там пол выложен цельными плитами малахита! Врут, наверное, но теперь уж не проверишь... Ну так вот, спешили они сильно. А как тут не спешить, шуточное ли дело, фирман эмира верующих и господин нерегиль под... эээ... все ж таки больше под стражей, чем под охраной. Хотя каид Марваз справедливо полагал, что самийа ни в охране, ни в страже не нуждается. Из того переулочка, где фирман вручали, каида Марваза вынесло вихрем. Тот стремительный полет на спине, а потом и под стременем ополоумевшей лошади запомнился ему надолго. Надо же, а после Нахля он почему-то думал, что ничего страшнее

случиться не может.

Еще Марваз про себя радовался, что не пришлось господина нерегиля везти в цепях, как узника: эмир верующих сменил гнев на милость и еще весной отозвал страшный приказ, где поминались оковы и прочие неприятные вещи. Правда, поговаривали, что неизвестно еще, чем встреча Тарика и халифа обернется: мол, повелитель наш имеет нечто в сердце против сумеречника, и многое нужно сделать, чтобы то нечто в сердце рассеялось.

Впрочем, рассуждать тут не о чем и нечего, обо всем их предупредили заранее. Господин Абу аль-Хайр ибн Сакиб сказал: ваша забота – препроводить господина нерегиля в Басру, пред очи халифа. Господин нерегиль, нужно сказать, с препровождением своим никаких препон не чинил, а каид Марваз со своими ребятами его не боялся. Почти.

А в Хире их догнал почтовый голубь барида с посланием от того же господина Абу аль-Хайра. Глава ятрибской тайной стражи просил дождаться важного человека с отрядом сопровождения – уж больно ему хотелось, чтобы эта персона следовала в Басру ко двору халифа под надежной охраной, и не потерялась, и не попала в засаду или под нож к бедуинским разбойникам, которые гоняли по всем землям Бану Худ и даже далее к северу. И надо сказать, что просьба господина начальника тайной стражи казалась каиду Марвазу мудрой. Уже под Куфой их нагнали слухи о страшной бедуинской шайке из бану куф, которые не просто грабили,

а убивали всех подряд, да как зверски: несчастных путешественников клали головой на камень и разбивали голову другим камнем, подобно тому, как жители пустыни изничтожают змей.

Так что теперь каид Марваз со всеми вверенными его попечению лицами уже шестой день сидели в доме у Старого Кладбища и ждали персону с ее персонским сопровождением. По ночам они резались с маридами в шахматы, а днем либо дрыхли, либо шлялись по базарам и баням.

Ну или ходили по странным поручениям господина нерегия, которому – поди ж ты! – занудилось огромных размеров зеркало. Наверняка что-то там они с маридами во время своих ночных посиделок придумали. Но все равно – зеркало, это кому сказать...

От воспоминаний и размышлений каида Марваза отвлекли звуки, мерзостность которых сравнима была лишь с полуночным воем голодной гулы – между прочим, пока шли через Дехну, наслушались.

Отвратительная, визгливо-кошачья рулада ввинтилась в уши и рассыпалась диким грохотом медных тарелок.

– Вяяяяаааа! Иииииииии!! – поддержал ее другой такой же мужеженский, пронзительно модулированный вой.

И снова грохот меди, бац! бац! бац! – равномерно забили металлом по металлу, терзая громкостью уши.

– Вя-вя-вя-вя-ииииииииии!!

То ли мужик, то ли баба, то ли все это вместе заверещало с

умопомрачающей пронзительностью, и каид Марваз понял, что в соседнем доме дают представление ханьской оперы.

Косоглазый посыльный оскалил желтые зубки и ткнул пальцем в распахнутую калитку под черепичным навершием. С вытянутых в морду прохожему стрех снова скалились драконы, а из прохладной глубины донеслась новая порция чужеземного воя.

Марваз понял, что за зеркалом ему придется идти прямо в визгливое оперное логово.

– О Всевышний, умоляю тебя о защите, – пробормотал каид.

И мужественно перешагнул высокий, заросший мохом порог.

На террасе, выложенной тиковым деревом – да уж, хорошо они тут приторговались, эти ханьцы! – его подхватили под руки два явных евнуха. И почтительно повлекли – ну понятно куда.

Бац! Бац! Бац! И россыпь десятков бубнов.

– Ииии-иии-ииии!

Бац!!!

Марваза на правах почетного гостя провели на верхний этаж, на самый раушан, в разгороженную уютную горенку с видом на сцену. Тряся двумя волосками бороды, перегнувшийся в поясе ханец подвязывал тяжеленный занавес между столбами галереи. Другой споро обтер полотенцем лаковый утлый столик и выставил малюсенький, с Марвазов кулак,

чайничек и такие же, с раковинку, чашечки. Белый прозрачный фарфор почти светился в полумраке.

С опаской поглядывая себе под задницу, каид решил-таки опуститься на высоченное сооружение о четырех тонких ножках, с ажурными резными поручнями и высокой, тоже резной спинкой. Видно, сооружение и впрямь предназначалось для сидения, ибо не развалилось и даже не зашаталось. Разве что скрипнуло, и Марваз в ужасе замер, стараясь не шевелиться.

Проклятье, нет чтоб положить ковер с подушками, как у людей принято. Тьфу.

По сцене скакали и шумели какие-то размалеванные белилами, румянами и синькой для глаз шайтаны. За спинами у них колыхались и слепили глаза знамена, парча и вышивка ярко блестели в свете плашек и фонарей. Ярко-красные кисти мотались, рукава мельтешили и мели пол, накладные черные бородищи завивались тысячью ярусов. Игравшие женщин мальчишки – замазанные белилами, с горой цветов и жемчужин в высоких прическах – мяукали друг другу на тысячу ладов, прямо как кошки:

– Ииии! Ля-ля-ля-мяу-ля-ииииии!

Бац! Бац!

– Играющий наложницу Ю мальчик принимает гостей после представления, – блестя глазками, шепнул на ухо редкобородый ханец.

И, по-змеиному скалясь и кланяясь, задом выпятился с

галерейки. Шитый – драконами! – толстый шелк за ним сомкнулся и душно заколыхался.

Размалеванные, с напомаженными губами мальчики завали хором. Персиковый шелк их рукавов – странных, слишком длинных, словно их портной забыл укоротить, из такого даже руку не высунешь – летал змеями, не гнущаяся от разноцветных нитей парча верхних платьев мешками свисала с локтей.

Опасливо пошевелившись в ажурном стульчике, каид Марваз сложил щепоткой пальцы и приподнял крошечную крышечку маленького чайничка. В открывшейся дырочке плавало что-то похожее на пук расплзшейся в воде травы. Марваз закрыл крышку и полез в рукав за платком: на каиде по утреннему времени болталась одна галабийя, даже штаны он не стал натягивать, но по груди тек пот. Душно у них тут.

И вдруг понял, что за всеми этими поклонами и наложницами Ю потерял из виду как посыльного, так и посредника. Тьфу, шайтан, вот что бывает, когда правоверный приходит смотреть на кафирские непотребства – он забывает о деле.

Степенно оправив куфию, каид встал – и чуть не перекинул стульчик. Еле успел за спинку прихватить. Поправив пояс с джамбией, Марваз решительно высунулся на галерею.

В полумраке красновато горели бумажные фонари. Доски пола скрипнули под его пыльными шлепками. Никого.

Марваз пожал плечами, еще раз поправил джамбию и решил идти обратно в сад – хоть воздуха глотнуть.

Туда, куда он пошел, лестницы вниз почему-то не оказалось. Зато почти не слышались вопли оравших, как растрепованные коты, актеров. Гулко бухали бубны и литавры, но уши уже не саднило за дальностью расстояния и общей приглушенностью звука.

В открытых дверных проемах колыхались красно-зеленые циновки со множеством кистей. За ними сидели ханьцы, курили длинные трубки. На шлепающего по коридору Марваза в белой, как у призрака, галабийе и длиннющей красно-белой куфии почему-то никто не обращал внимания. Сладковатый аромат плавал в воздухе белесыми клубами.

А вот и лестница – крутая какая. Нет, они поднимались не по ней...

Внизу его встретили совершеннейший мрак и затхлость. Какое-то глупое чувство вдруг подсказало, что снаружи дом не выглядел таким огромным. И сцена, и сад, и целый притон для курения опиума...

Марваз переступил с ноги на ногу, доски заскрипели. Глаза привыкли к темноте, и слева у самого пола он различил полосу света. Там была дверь. Ничего хуже, чем комнату с проституткой и клиентом, он не найдет – так решил Марваз и двинулся вперед.

Уже потом, отчитываясь в своих действиях Сейиду, каид понял, как рисковал. Но в тот миг его голову повело то ли от злости – ну что ж такое, заманили и дурачат, – то ли от опиумного дыма.

Из-за двери наплывало равномерное, монотонное, протяжное бормотание.

Дверь распахнулась.

В открывшейся зрению комнате ярко горели лампы. И, ахнув, Марваз тут же увидел – у правой стены.

Оно.

Огромное – в пол человеческого роста! – зеркало на длинных деревянных ножках.

А перед ним сидели трое обмотанных желтыми тряпками ханьских монахов и мерно гудели на своем языке. Ихний молитвенный предстоятель держал руки сложенными перед грудью в мудреном жесте: пальцы в замке, только указательные сложены вместе и торчат вверх. Остальные перетирали в ладонях крупные зерна четок, и потому казалось, что комната полна трясущих хвостами гремучих змей.

Гудение ханьцев вдруг повысилось и стало очень громким, а главный заголосил.

Марваз вдруг понял, что зеркало светится вовсе не отраженным светом. Оттуда плескало ярким сиянием, словно в комнату пытался раствориться нездешний мир!

– О Всевышний, молю Тебя о защите... – широко раскрывая глаза, прошептал каид.

Перекрывая крики и гул заклинания, из зеркала забрякало – и этот звук был Марвазу знаком. Так брякают пластины панциря.

Каид схватился за джамбию.

Из зеркала крикнули, а следом рыбкой вылетел кто-то маленький. Исчезнувшую поверхность вдруг рассек страшный, нездешней яркости блик. Монахи зарычали на пределе голоса, маленький завизжал на полу, блик завертелся вокруг своей оси, монах заревел, тыча в зеркало пальцами, а блик вдруг лопнул и – полез в комнату!.. полез, прям полез щупальцами!

Ах так?!..

– Во имя Всевышнего, у кого лишь сила и слава! Аль-Мухаймину, Охраняющий!

И Марваз, подскочив к зеркалу, пырнул клубящуюся мразину джамбией.

– Аль-Джаббаару! Могущественнейший! Ты подчиняешь творения!

Тыча в исходящее туманом нечто, он выкрикивал имена Величайшего. Лезвие явственно встречало сопротивление, рука немела от жуткого холода.

– Господин! Господин! Сейид, остановитесь! – это кричал кто-то на ашшари.

Марваз понял, что это не рука занемела, это просто на ней кто-то повис. Перехватив запястье с джамбией, на руке действительно висел маленький лысый сумеречник. И кричал на ашшари, призывая каида остановиться.

– Чего тебе? – переведя дух, осведомился Марваз.

Мелкий самийа показал в сторону зеркала.

Чихая и кашляя, из висевшего в локте от пола зеркаль-

ного кругляша кто-то выпал: голова и спина наружу, ноги с задницей в непонятном мареве внутри зеркальной рамы. Переступая по доскам пола смуглыми тонкими ручками, зазеркальный путешественник выполз из рамы целиком.

Когда этот кто-то распрямился, Марваз понял, что это еще один маленький, смуглый, тоненький и тоже лысый сумеречник. Точнее, не лысый, а наголо бритый – коротенькие волосики еле топорщились над кожей головы, и так же остро торчали ушки.

Тьфу, шайтан! Зеркало!

Марваз дернул рукой с джамбией, мелкий самийа снова зашелся в визге...

– Пусти!

Не пустил, но зеркало уже закрылось, снова приняв обманчиво-безобидный полированный вид.

Стоявший перед Марвазом самийа вдруг заглянул каиду за спину и резко крикнул – по-ханьски.

Быстро обернувшись, ашшарит застыл перед лезвием меча-цзяня, направленного прямо в грудь. Зеленая кисточка на темляке тихонько качалась в воздухе. Лицо державшего меч молодого монаха оставалось совершенно бесстрастным.

Сумеречник гаркнул снова. Ханец медленно опустил отливающий странной зеленою клинок. Каид расслабил локоть с занесенной джамбией. Остальные ханьцы держали руки на виду и ничего такого особенного не предпринимали.

Маленький сумеречник наконец-то отцепился от Марва-

за и кинулся отряхивать своего спутника. Оба самыйа одеты были совершенно как люди: желтая тряпка от груди до пят – вот и все платье. Впрочем, главному еще полагалось длинное ожерелье из красных бусин.

А потом вылезшие из зеркала сумеречники обратились к Марвазу.

Главный, мелко переступая, подошел ближе и оказался каиду аккурат по подбородок. Задрав личико, самыйа вдруг сложил ладошки, поднял руки над головой и завалился на пол в земном поклоне, потешно припадая при этом на один бок. Спутник его проделал то же самое. Ханьские монахи бухнулись на колени.

Марваз почесал голову под куфией и сказал:

– Ээээ... я... ээээ...

Сумеречник мгновенно перетек обратно в стоячее положение и серьезно сказал на ашшари:

– Ты спас нас от страшного чудовища, о юноша.

– А что это было, во имя Праведного? – поинтересовался Марваз.

– Зеркальная Рыба, – мрачно сказал сумеречник. – Опасней ее на Дороге Снов нет никого.

– Значит, пырнул я зеркальную рыбу, – пожал плечами Марваз. Рыба эта ничего ему не говорила. – Не впервой.

И сообщил ханьцам:

– Вообще-то я за зеркалом. Поручение у меня – арендовать зеркало. Вот это. Понимаете меня, нет, чурки бестолко-

вые?

– Меня зовут Луанг Най, – остро сверкнув зубами, улыбнулся сумеречник. – Я знаю, кто дал тебе это поручение. Тебе помогут доставить это зеркало, не изволь беспокоиться.

– А господин нерегиль знает, что вы про это знаете? – обескураженно пробормотал Марваз.

Когда дело касалось магии и сумеречных плутней, ему становилось как-то не по себе.

– Об этом тоже не изволь беспокоиться. Господину нерегилью будет любопытно узнать, что о нем знаю я – и Зеркало Люнцуань.

Каид опасно покосился на поблескивающий в свете ламп металлический кругляш. Зеркало как зеркало, даже чуть поцарапанное.

– Ладно, – вздохнул Марваз. И прикрикнул на суетившихся ханьцев: – Эй вы, чурки понаехавшие! Ну-ка позовите сюда кого-нибудь! Не тащить же мне это зеркало на себе, во имя Всевышнего! Живее, живее шевелитесь, а то я уж незнамо сколько в вашем вертепе валандаюсь! Баня закроется, и что мне делать, снова не мыться? Завтра ж женский день!

* * *

*Окраина Хиры близ Старого кладбища,
некоторое время спустя*

– ...Почтеннейшие! Почтеннейшие! Во имя Всевышнего, милостивого, милосердного, да пребудет Его благословение на благородных сынах пустыни вроде вас, не извольте беспокоиться, сейчас ваш ничтожный раб уладит это дело!..

Между шипастыми железными стремянами и боками верблюдов метался *джазир*, выборный староста, отвечавший в квартале ас-Судайбийя за размещение путников. Про себя он, конечно, проклинал злую судьбу и козни иблиса, намутившего своим крысиным хвостом эдакую пакость.

Да покарает Всевышний сынов скверны – так думал про себя староста – откупившихся от амиля большими подношениями еще в прошлом месяце! Иначе как объяснить то, что градоначальник отправляет на постой в ас-Судайбийя уже второй вооруженный отряд! И какой! Рожи-то, рожи какие бандитские! Впрочем, у бедуинов всегда рожи бандитские...

– А ну, пойдя в дом, скажи – пусть выметаются! Нас много, а их всего дюжина, им такая усадьба ни к чему! Пусть идут куда хотят!

С высоты верблюда орал и потрясал плеткой главарь этой банды – ох знал, ох знал что делал сидевший у южной таможенной заставы города катиб, когда сказал этим хмырям ехать к нему, к Ясиру, мол, Ясир староста в том квартале, он вас и разместит... А как же, какому разумному человеку охота связываться с шайкой разбойников – а что это разбойники, а никакие не возвращающиеся из хаджа паломники, это ж ишаку ясно...

– О благороднейший из мужей! Позволь мне переговорить с этими правоверными!

– Поторапливайся! Всадникам бану куф не пристало ждать, пока им окажут гостеприимство!

О Всевышний, про себя взмолился Ясир, я так и знал! Это те самые бану куф, небось, с добычи позолотили руку катибу и теперь желают отдохнуть после разбоя в хорошем доме с колодцем и прудом, притомились людей резать, хотя что резать, рассказывают, что эти бану куф кладут голову человека на плоский камень и бьют камнем сверху, пока не размозжат совсем...

И Ясир, боязливо оглядываясь, потрусил к воротам странноприимного дома. За воротами перекликались мужские голоса, с хохотом призывающие какого-то Мусу залезть в колодец к мариду. Вот ведь шуточки у них какие...

Стук в ворота оборвал и хохот, и веселые крики.

– Мир тебе, о правоверный, – гвардеец, по виду настоящий ханетта, недружелюбно высунул смуглую морду в щель между створами.

Стрельнув глазами в сторону вооруженной толпы за спиной, Ясир принялся жалостно лепетать:

– О достойнейший муж! – как много-то их в последнее время развелось, этих достойнейших мужей, чтоб их шайтаны взяли всех и сразу... – Прошу простить за беспокойство, но вот в город прибыли эти достойные люди...

Тут староста показал на темную в густеющих сумерках

толпу верховых. Замотанные по самые носы, в черных рубахах и черных же тюрбанах, бану куф смотрелись подлинной инспекцией преисподней: десятка конных и еще пара дюжин рыл в седлах быстроходных верблюдов. Бедуины расслабленно поигрывали копьями, вздергивали морды коней, те сердито переступали копытами. Крепчающий к вечеру ветер трепал полы бурнусов и края тюрбанов, верблюды поревывали.

Гвардеец мрачно оглядел «гостей» и смачно плюнул Ясиру прямо под туфли:

– Ну?..

– Ну вот же ж, – засуетился староста, – а места-то у нас не больно-то и много, и вот я и подумал, о образец мужества и зеркало отваги, не согласишься ли ты и другие доблестные мужи, которые, без сомнения, суть девиз храбрецов...

– Куда ж ты нас сунуть хочешь, о сын греха? – опершись локтем о воротную створу, зевнул ханетта.

И почесал в распахнутом ворота длинной рубахи, искося поглядывая на угрожающе молчащую, ощетинившуюся остриями пик бедуинскую свору.

– А вот в пристроечку на соседнем дворе, о сын достойнейших родителей! – расплылся в лстивой улыбке Ясир.

И тихо-тихо добавил – в том числе и нарисовавшемся за спиной ханетты здоровенному тюрку с круглым, как дыня, лицом:

– Вас от силы дюжина, а их сорок рыл. Отъявленные головорезы, отъявленные, да покарает их Всевышний. Прошу

прощения за беспокойство, но нам в городе беспорядки не нужны...

Со двора крикнули:

– Чего там, Абдулла?..

Ханетта расслабленно отозвался:

– Да толпа народу еще подогналась, говорят, надо потесниться...

И, еще раз зевнув, сказал Ясиру:

– Старшой отошел, а без него ответа дать не можем... Начальник – он, сам понимаешь...

Староста закивал, но закивал с облегчением: разумно сказано – разумно сделано. На рожон солдатики не полезут, зачем им, у них поручение важное, вроде как кого-то они везут, то ли пленника знатного, то ли еще кого, впрочем, люди говорили, что вроде как сумеречника. Ну и пусть их, лишь бы бедуины в драку не перли.

Но они поперли.

– Эй ты, ханетта!

Так.

За спиной Ясира затопотал верблюд.

Староста сгорбился, когда его обдало пылью и жарким смрадом огромной скотины. Боязливо, на манер ящерицы, Ясир поглядел через плечо и вверх.

Бедуинский главарь носил щегольский тюрбан со свисающим чуть ли не до пояса концом. Одной рукой он поигрывал пикой, другой – в массивных перстнях-печатках – перебирал

складки тюрбанного хвоста.

– Выметайтесь, – оскалил зубы главарь. – Не то весь здешний квартал будет должен нам за воду.

У Ясира подогнулись коленки.

Ханетта вдруг дернулся в сторону – мимо уха у него что-то свистнуло и брякнулось о землю прямо у туфель старосты. В некотором ошалении Ясир понял, что это обглоданная кость куриной ноги.

– Кто-кто будет должен за воду?

Хороший ашшари и непривычный звякающий голос так странно не сочетались между собой, что Ясир заморгал: так шуришься и отводишь взгляд, чтоб не смотреть на красное пятно в больном глазу калеки.

Отодвинув ханетту, в ворота, вихляясь и жуя на ходу, засунулся сумеречник. Все-таки они везли сумеречника.

Каким-то тайным чувством Ясир вдруг понял, что ханетта и тюрк резко смылись.

Сумеречник развязно привалился плечом к воротной створке, словно боялся упасть без опоры. Худющее тело торчало даже сквозь просторную рубашку – еще чуть-чуть, и ветром сдует. Возможно, от полета сумеречника удерживал лишь длинный меч в битых ножнах. Оружие самийа нагло держал за ремни перевязи, едва не волоча по земле. Морщась и шурясь, он любопытно шевелил ушами и грыз хрящик второй куриной ноги.

– Так что там про воду? Что там мы кому должны? – сдви-

нув, словно леденец, кость в угол рта, снова поинтересовался сумеречник.

– Пошел отсюда, тварь ушастая, – брезгливо отозвался с высоты верблюда бедуин. – Не такой уж ты ценный подарок, чтоб на ашшарита рот разевать. Пшел прочь и позови хозяев.

Самийа вытянул руку и отодвинул Ясира в сторону. Тот отъехал, как занавеска, и на манер занавески, чуть колыхаясь на ветру, затих.

На притоптанную туфлями землю брякнулась еще одна кость.

– Прыгай, – звякнул сумеречный голос.

Косточка белела на рыхлом песке.

– Че-вооо?!

– Прыгай за костью. Она очень дорогая.

– Че-во?! Да я...

– Прыгай за костью. Она стоит воды для целого квартала – и никчемных жизней твоих спутников. А если ты полаешь над ней собакой, я не убью и тебя.

– Ах ты кафирская...

Про кафирскую морду Ясир не дослушал, ибо тем же чувством трепаной занавески уловил смертоносное колыхание воздуха. И рыбкой нырнул под ограду.

* * *

Конь с волочащимся в стремени, еще орущим телом груз-

но прогрохотал мимо. Марваз быстро прихлопнул к стене обоих сумеречников – слух его не подвел, через мгновение в переулок, колыхая меховым горбом, ворвался верблюд.

Каид, оба сумеречника и носильщики-ханьцы распластались вдоль саманной ограды. Ханьцы тоненько поскуливали, но не выпускали из рук концы поручней, к которым крепились ремни носилок. Деревянный ящик с зеркалом стоял на земле. Хорошо, что предусмотрительные косоглазые напихали в него сушеной травы и прочей бумаги. А он, Марваз, еще думал: чего этой железяке сделается... а вот же ж, чуть конем не прокатило вниз по улице!

Если слух не обманывал каида, месиво, из которого вылетали кони под пустым седлом, оружие перекошенные люди и пуганые верблюды, крутилось аккурат перед воротами их дома. Вопли неслись с площаденки перед Старым кладбищем.

Верблюд, пыхтя, топоча и постепенно замедляясь, надвигался на них, занимая бочинами весь переулок. Марваз втянул в себя воздух и привстал на цыпочки – еще ноги отдавит. Рыже-серый длинный мех болтался под изгибом шеи, с вислых губ капала слюна.

Каида мазнуло через всю грудь, и даже на лице осталось что-то влажное. Верблюд, раскачиваясь, утопал вниз, а один из ханьцев вдруг перегнулся пополам в приступе рвоты. Сумеречники одинаково чирикнули.

Марваз понял, почему седло на верблюде так странно вы-

глядит: в нем еще сидела часть... тела. Непонятно, как держатся эти ноги, заметил про себя каид, и половина трупa, словно дождавшись его мыслей, сползла и влажно шлепнулась о стену дома и в пыль. Верблюд, похоже, ничего не заметил и побежал дальше.

Ханьца бурно тошнило. Марваз вытер со щеки темную вязкую кровь.

Дикие крики медленно гасли. Но кто-то продолжал орать – как заведенный, на одной ноте.

Осторожно переступая ногами, прижимаясь спиной к стене, каид сполз вниз по улице. Глубоко вздохнул и выглянул на остывающую площадь из-за съехавшего угла ограды.

Выглянув, Марваз понял: ограда съехала, потому что в нее всей тушей впечатался верблюд. Животное лежало, странно подогнув ноги, в какой-то странной борозде – словно его сдуло и протащило, а потом со всей дури шмякнуло о стену.

По виду площади казалось, что на ней раскрутился начиненный лезвиями смерч. Все и всех разбросало, но не всех целиком.

Через влажный песок полз кто-то в размотавшемся турбане, на диво быстро перебирая руками и ногами. За спасающимся бегством дурнем – далеко ли убежишь на четвереньках? – медленно и расслабленно шел нерегиль. Меч он держал тоже расслабленно. Почти небрежно. Сыто так держал меч.

Вопль оборвался. В тишине нерегиль явственно фыркнул. И дал ползущему легкого пинка в зад. Тот обреченно замер, приподняв лопатки и опустив лицо к земле.

– Я же говорил – хорошая была кость. Надо было лаять... – Нерегиль сокрушенно вздохнул.

И невесомо отмахнул мечом. Тело распалось на две половинки – странно, на две разные стороны, с запозданием на тягучий миг. Нерегиль уже отворачивался, а труп только начинал разваливаться. Внутренности крапчатым пирогом шлепнулись вниз.

За идущей мурашками спиной Марваза присвистнули. И хихикнули. Марваз решил, что это шайтан.

Но обернулся. Там стоял сумеречник из зеркала и скалил мелкие зубки. Вдруг в его руке свистнуло и сверкнуло что-то похожее на железную змею. Замахнувшийся джамбией человек упал на спину с перебитым горлом. Смертоносная змейка, свиристая лезвием на конце, послушно намоталась сумеречнику на запястье.

– Кто это такие, Марваз?

Каид понял, что нерегиль стоит прямо перед ним. Почти не закапанный, кстати, отметил про себя каид. Как хороший повар. Отец учил Марваза: хорошего повара узнают по рукавам, они всегда чистые...

– Марваз?.. Я спрашиваю, кто это.

...а вот на фартуке может быть все что угодно.

У нерегиля на белом животе темнел веерок мелких ка-

пель.

– Мы служители богини милосердия, о господин, – мурлыкнул на ашшари выходец из ханьского зеркала.

Оба сумеречника вскинули сомкнутые ладошки и завалились на землю в поклоне, потешно перекидываясь на один бок.

На разодранное горло человека, по которому полоснула железная змея, не хотелось смотреть.

– Милосердия, говоришь? – издевательски ухмыльнулся Тарик.

– Иногда милосерднее избавить мир от одной души, чтобы спасти от смерти многих, – задрал от земли морду, ласково улыбнулся лысенький самийа.

– Благостное у вас богословие, – еще сильнее оскалился нерегиль.

И перевел взгляд спокойных светлых глаз на Марваза:

– Зеркало?..

Деревянный ящик лежал в устье улицы в путанице ремней и сиротливо торчащих деревянных коромысел. Носильщики, похоже, улепетнули, едва ознакомившись с панорамой.

– Вот, – мужественно показал на ящик Марваз.

И снова посмотрел на веерок темных капель на белой ткани.

Случившееся на площади в Нахле Марваз запомнил. Навсегда. Тарик сдерживает пляшущего сиглави и поднимает узкую бледную ладонь. В Нахле нерегиль передумал. А

здесь, видимо, нет.

– Спрашивай, каид, – милостиво кивнул ему нерегиль.

И Марваз спросил:

– За... что?

Сумеречник вздохнул. Но ответил:

– Видишь ли, Марваз. Я ненавижу бедуинов. Они продажны, трусливы и бесчестны. Но когда я попал в стойбище, я был должен за воду. Потом я был должен за лошадь. А вот этим бедуинам я ничего не был должен. Ну вот и высказал все, что накопилось на душе. Так что запомни, Марваз: не держи в себе раздражение и гнев. Это глубокая, мудрая мысль.

И, уже разворачиваясь, спохватился и добавил:

– Да, Марваз. Там под забором у ворот лежит староста. Извинись перед ним и дай ему денежку – за труды. Я тут сильно намусорил, право дело...

* * *

Дом у Старого кладбища, четыре дня спустя

– ... Человеческая глупость неизлечима, – строго заметил черный кот, точнее, джинн в облике черного кота.

Все участники чаепития горестно покивали головами – в том числе и глава ятрибского отделения барида Абу аль-Хайр ибн Сакиб.

За последнее время Абу аль-Хайр узнал много такого, что, расскажи ему кто все это с месяца три назад, начальник ятрибской тайной стражи рассмеялся бы такому человеку в лицо.

Вот взять, к примеру, нынешний вечер. Скажи кто Абу аль-Хайру три месяца назад, что он будет сидеть на террасе и тянуть чай из пиалы в компании нерегиля халифа Аммара, джинна-перевертыша и почтенного Абд-ар-Рафи ибн Салаха, уважаемого муллы Куба-масджид, – он бы назвал такого человека лжецом и сыном лжеца, рожденного, к тому же, вне брака!

Ах да, ибн Сакиб совсем позабыл про пятого их собеседника: каид Марваз сидел с самого краешка, чинно подобрав костистые ступни, и степенно прихлебывал чаек, щурясь на закатное солнце. Терраса выходила в жухлый, несмотря на зимнее время, сад с растрескавшейся оградой. За оградой вверх по холму уныло тянулось Старое кладбище. В залитом малиновым небе торчали из неплодной почвы могильные камни. Нахлобученные на столбики круглые навершия кое-где потрескались, скалясь острыми сколами. Жизнерадостно у них в этой Хире, ничего не скажешь...

Именно каид Марваз и объяснил Абу аль-Хайру все несуразицы и нелепицы, приключившиеся с ним и его спутниками на пути к этому старому дому.

Вначале их отправили к Новому кладбищу. Все утренние прохладные часы они потеряли, блукая среди дувалов и на-

глухо запертых ворот. Местные жители отчего-то не отзывались ни на какие стуки, крики, посулы и угрозы.

Отозвались лишь на рев огромного Назука: глава гулямов-телохранителей Абу аль-Хайра и впрямь отличался могучим голосом, не зря зинджа за глаза звали Носорогом. Так вот, посреди очередной кривой площаденки с огромными рытвинами Назук заревел:

– Правoverные есть?! Я спрашиваю, есть здесь правoverные?! Клянусь Всевышним и Его именем «Милостивый», я разрушу сначала дом по левую руку, а потом дом по правую руку, если мне не отзовется ни единый голос верующего!!!..

Ворота хлопнули, и в щель вывалился щуплый старик. Он пискнул:

– Я правoverный, о брат по вере Пророка!

Назук завис над старцем и сурово спросил, правильно ли они идут в квартал ас-Судайбийя у Нового кладбища. На что тот заблеял, что никакого квартала ас-Судайбийя у Нового кладбища в Хире нет, ибо у Нового кладбища застроено все совсем недавно, и кварталом ар-Ракик, по имени сукк-ар-ракик, сиречь рабского рынка, а квартал ас-Судайбийя расположен аккурат возле Старого кладбища... Назук прервал блеяние новым ревом:

– Так где, во имя Ар-Рахмана, нам найти странноприимный дом в квартале ас-Судайбийя у Нового кладбища?!.

Старикан повалился наземь и заблеял в том смысле, что никакого квартала ас-Судайбийя... ну, вы поняли.

Назук спешился, поднял старика с земли и закинул его в ворота, из которых его выпихнули сердобольные родственники, видно, решив, что старикан уже отжил свое и умирать ему будет не больно. И заревел:

– Еще правоверные есть?! Я спрашиваю, еще правоверные есть в этом проклятом Всевышним городе?!..

На страшный голос из других ворот высунулась харя и сообщила, что правоверные в Хире есть, а дураков умирать нету, и что желающие повстречаться с халифскими гвардейцами и ихней страшной зверюгой могут идти в ас-Судайбийя у Старого кладбища и не тревожить правоверных своими воплями, если уж им так не терпится оставить сей мир и переселиться к гуриям рая, как те шахиды, которых та зверюга... ну, вы поняли.

И уже на месте каид Марваз объяснил, что после того, как в яму на Старом кладбище сложили все части тел разбойников, Старое кладбище стали называть в городе Новым, а Новое кладбище – Старым, а жители Хиры с тех пор исправно снабжают постояльцев этого дома овцами и даже цыплятами, ибо складированные на то ли Новом, то ли Старом кладбище разбойники, будучи еще в целом виде, не давали городу житья. И только жители квартала ар-Ракик, что у то ли Нового, то ли Старого кладбища, зло шипят навроде той недовольной хари в воротах, ибо разбойные бану куф пригоняли тамошним торговцам множество похищенных и незаконно обращенных в продажные людей.

Страшная зверюга заседала аккуратно на террасе и нехотя кусала мясо с бараньей ноги. «Меня сейчас порвет, как хомяка, но остановиться не могу», – жаловался Тарик, ибо это был, конечно же, он. Рядом с нерегилом обретался тот самый котообразный джинн, который отнюдь не жаловался на переедание, а купал усатую морду в миске козьего молока.

Каид Марваз доложил Абу аль-Хайру, что джинна нерегиль выманил волшебной дудочкой из зеркала. Так, мол, и так: приказал принести большое зеркало, правда, когда он, Марваз, пошел за зеркалом, оттуда по ходу дела вывалилось еще двое сумеречников лысого мелкого вида...

К тому моменту, когда Абу аль-Хайр сумел разобраться в истории, где хороводились айютайцы в желтых рясах, частично целые бедуины, зеркало величиной с арбуз и выходящие из зеркала на звук флейты джинны-коты, у него уже шла кругом голова.

Тарик с пониманием смотрел за тем, как на лице Абу аль-Хайра отражаются мысленные усилия. Самийа лежал на боку, переваривая съеденное.

В сухом остатке на террасе, как уже и было сказано, оставались лишь нерегиль, кот и каид Марваз. Зеркало унесли обратно в ханьский квартал, а лысые мелкие сумеречники в желтых рясах залезли обратно и ушли по своей зеркальной колдовской дороге то ли до, то ли после того, как металлический диск величиной с арбуз занял свое законное место в подвале опиумного притона.

Про то, зачем маленьким лысым сумеречникам приспичило вылезать из зеркала на свидание с нерегилом, Абу аль-Хайру рассказал джинн. То есть кот. То есть джинн.

– Я, конечно, слышал про такую штуку, как Зеркало Люнцуань, – степенно проговорил кот, обматывая передние лапы хвостом, – но – клянусь огнем Хварны! – полагал это рассказами и выдумками. Вам, людям, невдомек, но я бы на месте ханьцев держался подальше от вещи, обладающей собственным... эээ... разумом. К тому же это зеркало сделавшие его... ээээ... существа называли совершенно иначе, да, но лучше мы про это говорить не будем. Само Зеркало стоит в Запретном городе ханьской столицы, в императорском дворце. Павильон, говорят, так и называется: Дворец совершенной мудрости девяти тысяч драконов. А дорогу оно открывает к любой другой зеркальной поверхности. Может раскрыться в пруд. А может, как сейчас, просто в большое зеркало. Я слышал, в Ауранне у Зеркала Люнцуань – будем звать его так, возможно, оно уже привыкло – есть близнец, так это реликвия императорского дома, ага. Был бы здесь Митама, я б спросил, они наверняка знакомы...

Кто такой Митама, Абу аль-Хайр не знал, но его заверили, что скоро они познакомятся.

– Одним словом, Зеркало Люнцуань отвечает на вопросы. Иногда. А иногда молчит. А еще оно может открыть дорогу к... мmmm... искомому.

Нерегиль – он уже сидел, привалившись к стене, – с на-

смешливым изумлением поднял бровь.

– Прости, Полдореа, – вскочил и потерся о его колени щечкой кот. – Я пытаюсь объяснить, почему зеркало открыло Луанг Наю дорогу к тебе.

– Так почему, о дитя огня? – тихо и очень серьезно спросил старый мулла.

Надо сказать, что Абд-ар-Рафи ибн Салах хмурился и озабоченно поглядывал с самого мига, как увидел нерегиля. Дергал себя за бороду, перебирал седые некрашенные пряди.

– Ну, – покосился джинн на Тарика, – потому что Полдореа, похоже, может им помочь в деле со статуей.

– Какая еще статуя, да заберут ее тысяча, нет, десять тысяч шайтанов!!! – заорал, окончательно потеряв терпение, Абу аль-Хайр.

Ибо, согласитесь, если в рассказе после лысых мелких сумеречников, зеркала, незнакомого Митама, разбойников и переименованных кладбищ появляется еще и какая-то статуя – это слишком.

– Очень хорошее пожелание, – тонко улыбнулся нерегиль, не отрывая взгляда от ярко-малинового неба над кладбищенским холмом.

– Что за статуя? – мрачно переспросил Абу аль-Хайр.

Джинн снова покосился на нерегиля. И вдруг свирепо оскалился:

– Вам, людям, невдомек, но у нас тут большая новость. Допрыгалась, допрыгалась Третья Сестричка. Я бы даже ска-

зал – доигралась.

– А я бы сказал – допилась жертвенной крови, – тихо подержал кота нерегиль.

В глазах у Тарика полыхнуло, да так ярко, что Абу аль-Хайр не поручился бы, что дело только в отблесках заката. И решил молча послушать.

– Видите ли, господа, как оно обстоит, дело-то, – вальяжно привалился на бок котяра. – Невозможно безнаказанно с адом водиться, да-ссс... Невозможно-сс... Сила – она ведь даже у Богини не бесконечна и прибывать должна, да-сс...

– Ближе к делу, Имру, – спокойно сказал нерегиль.

– Ну так вот. – Кот перевернулся на спину, задрал вверх переднюю лапу и бодро должил: – Третья Сестричка истощила свою Силу до такой степени, что ей понадобилось тело. Тело из материи. Богине пришлось срочно воплощаться! Представляете?

И джинн ослабился в такой злорадной ухмылке, что казалось – белые зубы плывут в воздухе отдельно от горящих глаз и встопорщенной усами морды.

– Они не представляют, – усмехнулся Тарик. – Так что еще ближе к делу, Имру.

– Ну и пожалуйста, – отмахнулся хвостом джинн. – В двух словах: ей понадобилось тело, она послала за ним своих прихвостней-карматов, а они нашли в качестве тела статую богини милосердия – в храме, где служит Луанг Най. А Луанг Най обратился с молитвой к Зеркалу Люнцуань. Попросил

показать того, кто...

Тут джинн воровато стрельнул кошачьими глазками в сторону нерегилья. Тот резко обернулся и пригвоздил его к полу ледяным взглядом:

– К делу, Имру.

– Да я что, я что... – пробормотал кот, съеживаясь. – Попросил показать того, кто, значит, может Сестричку одолеть и статую... – тут кот и нерегилья снова встретились глазами, и кот съежился еще больше, – ...освободить. Освободить, короче, статую, а Сестричку одолеть. Да.

Уже потом Абу аль-Хайр вспоминал, что каид Марваз рассказывал: ух, как вся эта компания орала тем вечером, что он зеркало принес, а из него джинн вышел. То есть кто орал: маленький сумеречник, нерегилья и котовый джинн. Точнее, котовый джинн больше всех орал. Сначала на айютайца – на ашшари. Крыл его страшно. Все на то напирал, что они, айютайцы, горазды чужими руками каштаны из огня таскать. А сумеречник лысый знай себе хихикал и говорил, что он, котяра неблагодарный, должен ему еще в ножки поклониться. Да и все равно всем кирдык настанет, мурлыкал он с шайтанским тонким смехом, так что не все ли ему, котяре, равно, вон нерегилья сидит и наоборот радуется: шутка ли, такая прямая дорога к исполнению всех желаний ему указана... Тогда кот принялся орать на негерилья – и все на фарси. А тот лишь отфыркивался иногда – и тоже на фарси, а фарси каид Марваз не разбирает и, почему такой ор стоит, понять

не сумел.

Но то было потом. А тогда почтеннейший мулла Абд-ар-Рафи вдруг сказал:

– Имею к тебе, о дитя огня, ряд вопросов. Ответь мне, во имя Милостивого. Дорогу к чему показывает Зеркало Люн-цуань?

При имени Всевышнего кот встопорщился. Но ответил:

– К исполнению желаний.

– Чего желал тот сумеречник?

– Вернуть статую. Без духа Богини внутри. Или, если это невозможно, изгнать Богиню ценой уничтожения статуи. Он готов пожертвовать изваянием – лишь бы не видеть его оскверненным.

– Почему зеркало привело его к Тарику?

– Потому что Луанг Най попросил показать того, кто способен на подобное действие и желает того же самого.

– Да? Во имя Милосердного, я не слышал большей чепухи. Изгнать злого духа из предмета способен любой сведущий маг, даже человек.

– Ну, зачем же так скромничать, – мурлыкнул Имруукль-кайс, сверкнув зелеными глазами. – Сказали бы уж сразу: даже я, мол, способен. Про ту историю с кольцом, о почтеннейший ибн Салах, наслышаны все джинны от моря и до моря. Но, увы, здесь особый случай. Вам здесь не справиться.

– А кому справиться? – спокойно, но настойчиво спросил мулла.

– Вон ему, – щерясь в зубастой улыбке, ответил джинн.

И кивнул на усмехающегося нерегиля. Того, похоже, забавляли попытки ибн Салаха докопаться до какой-то скрытой правды.

– Так почему именно к Тарику? – заупрямился старик.

– Вы спрашиваете не о том, почтеннейший, – скривил губы нерегиль. – Знаете, чем бы я поинтересовался на вашем месте?

– Хм, – еще сильнее нахмурился мулла. – И чем же?

– Не моими желаниями, а моими возможностями. И тем, чем материализация аль-Лат обернулась для аш-Шарийа, – отрезал нерегиль.

– Я знаю чем, – холодно сказал ибн Салаф и вытащил четки. – Уничтожив статую, мы уничтожим богиню. Лишившись тела, злой дух развоплотится и покинет наш мир. А карматы, лишившись его поддержки, рассеются и перестанут досаждать халифату.

– Именно, – так же холодно заметил Тарик.

– Ключ к победе, – пробормотал мулла, задумчиво перебирая четки.

– Ключ к победе, – тихо подтвердил нерегиль. – Теперь я знаю, как одолеть карматов и покровительствующего им злого духа.

Абд-ар-Рафи подумал – и решил еще на один вопрос:

– Почему карматы выбрали именно эту статую? На границе с Айютайа великое множество храмов, а уж сколько их в

Лаоне – и не сосчитать... Почему именно ее?

– Потому, – вдруг зло прищурился джинн, – что у этой статуи очень... особенная история. И, скажу я вам, история эта делает ее крайне подходящим телом для злого духа. Ее приказал отлить из чистого золота король Боромма Фан. После того, как сорок шесть лет назад узурпировал власть, казнив невестку и малолетнего племянника, наследовавшего после покойного короля.

Джинн с удовольствием уставился на людей: ну, что скажете? Похоже на то, что сделал со своим братом и его семьей ваш нынешний халиф? А?

Абу аль-Хайр явственно почувствовал, как у него шевелятся волосы. У каида Марваза с лица сошел всякий цвет. Мулла, стараясь не измениться в лице, молча отвел глаза.

Тарик, очень бледный и прямой, тихо проговорил:

– Да брось ты, Имру. Какая же это особенная история – это обычная история. Она не смущает здесь никого. Даже... меня.

И поставил на пол пустую пиалу. Пальцы нерегиля заметно дрожали.

Так вот оно что. Вот отчего ты сбежал. Тебе жаль молоденькой жены аль-Амина и мальчика. Подумать только, у аль-Кариа есть сердце, к тому же чувствительное. Чудны дела твои, о Всевышний, – вот ведь существо, само до себя странное. Не так давно, губу оттопыривая, целые города под нож пускал, без разбора пола и возраста, а тут младенчика

пожалел. Впрочем, Абу аль-Хайру говорили, что нерегиль с отцом жены аль-Амина – большие друзья. Возможно, Тарик переживает за то, что не уберег ибн Тулунова внука: у аль-самийа с честью и обещаниями все строго, ему про это тоже рассказывали.

Но хватит бесполезных разговоров – прошлого не изменишь.

– Похоже, со статуей мы разобрались, – вздохнул Абу аль-Хайр, и все с облегчением зашевелились. – Теперь мой черед рассказывать: увы, я тоже привез новости.

И он выложил им все.

И про то, как мединские купцы и богословы остались крайне недовольны событиями штурма города – в особенности богословы. Шутка ли сказать: чалмоносные олухи буквально расписались в собственном лицемерии. Школьный учитель накорябал Фатиху на воротной створке – так ворота стояли, как на девяносто девять засовов запертые. А все благовоениями окуренные диктовальщики хадисов были взвешены, и цены им вышло медный даник. Кому же такое понравится, позвольте спросить?

Рассказал он и про то, как свирепствовал и крушил все в Новуфелевом саду принц-Дракон. Ох, как орал, рассылая во все уголки пустыни шайтанов, Ибрахим аль-Махди, как топтал спелые яблоки и пулял чашками в верещащих рабынь. А как же, очень уж ему хотелось прижать на ночной крыше белокожую гладкую лаонку, он уж у знаменитого мединского

лекаря особое кольцо заказал, ну, знаете, которое если наде-нешь сами знаете куда – так стоит, как скала. А сумеречница сбежала вместе с сородичами – да, я все знаю, не вскидывай-ся, о Тарик. Усвистали лаонцы быстрее ветра, ушли к себе в земли, и никто их не догнал. Да и кому охота гнаться за собственной смертью? Впрочем, мне рассказали, что здеш-няя площадь выглядела гораздо красочнее того мединского двора, где лаонцы на пару с тобой, о Тарик, разделали Но-вуфелевых айяров. Но и дворик тоже был ничего, принцу Ибрахиму понравилось, он аж посерел, бедняжка.

А самое главное, рассказал Абу аль-Хайр, – это бума-га. Важная такая, личной принцессой печатью запечатанная. Сопровождаемая торжественными клятвами законовевов и улемов Медины. С положенными подписями и заверениями уважаемых кади. Какая бумага? А тебе будет интересно по-слушать, о Тарик.

Бумага про то, что принц Ибрахим аль-Махди вошел в гибнущую Медину со своим отрядом аккурат тогда, как ты со своими сумеречниками изничтожал народ в Куба-ма-сджид. Предварительно выбив и разнеся в мелкую каменную крупу печати Али над входами. Не вскидывайся, о Тарик. Подумай сам: где твое слово язычника и беглого раба – и где слово принца крови, подтвержденное уважаемыми свидете-лями?

Карматы где были все это время, спрашиваешь? Штурмо-вали цитадель и Гамама-альхиб, а ты думал. А ты с шайкой

сумеречников мстил беззащитным правоверным за гибель родичей Амаргина или как его там еще звали, этого лаонского вожака. Так что Ибрахим аль-Махди спас город и верующих от карматской напасти и ярости сбесившихся сумеречных тварей, которых хлебом не корми – дай перерезать ашшаритское горло. Кстати, ты не знаешь, о Тарик, может и у здешних бану куф был шибко грамотный сторонник, который уже порадел о том, чтобы донести до эмира верующих жалобу на твои бессудные расправы и избиение невинных.

– А эти законники не думают, что правда выплывет и клевета их будет изобличена перед лицом Всевышнего? – искренне рассердился каид Марваз. – Всемогущего не обманешь, и я сам убедился в этом с очевидностью и достоверностью, подтвержденными опытом!

Во время штурма Марваз еще находился на пути Медину, но про бой на площади Куба слышал ото всех очевидцев.

– А кто ее будет обличать, эту клевету? – нехорошо усмехнулся Абу аль-Хайр. – Через пару дней бумагу доставят в Басру: Ибрахим аль-Махди отправил свою почту на беговых верблюдах-джаммазат, он себе может это позволить. Когда эмир верующих получит это донесение, что он сделает, как ты думаешь, о Марваз?

Каид мрачно поскреб бритую макушку под куфией:

– Воистину, это запутанное дело, да поможет нам Всевышний... Не везет вам, сейид, совсем не везет: то в Таифе оклеветали, теперь вот из Медины вранье шлют... Тогда-то вы

сбежали, а я донесение написал, а сейчас... что ж нам делать-то?..

Нерегиль только дернул плечом и отвернулся. В густеющих сумерках его лицо странно светилось, и видно было, как горько кривится рот.

– Эмир верующих, – ответил на свой вопрос начальник ятрибской тайной стражи, – прикажет взять тебя в железо, о нерегиль, на ближайшей почтовой станции. А потом запереть в подвале. И случится это уже в следующем городе: государственная почта ходит быстро, очень быстро, Тарик.

– Мой повелитель обещал лично отхлестать меня плетью, – криво улыбнулся Тарик. – Неужели он лишит ничтожного раба такой милости?

– Он может, – тихо сказал Абу аль-Хайр.

– Ты приехал предупредить меня об опасности, о ибн Сакиб? – холодно поинтересовался Тарик. – Увы, ты ничего не можешь поделать. Фирман повелителя приказывает мне спешить к месту его пребывания – даже за эту остановку в Хире мне придется держать ответ.

– Я прислал вам голубя с просьбой дождаться важного человека. Ты не медлил и не мешкал – ты исполнял просьбу ашшарита, просившего о защите, о нерегиль. Ну что ж, этот человек – я. Вы меня дождались. Благословение Всевышнему, со мной согласились поехать почтеннейший Абд-ар-Рафи и отряд из шести воинов-гази, горящих желанием отправиться на священную войну. Ты их знаешь, о Тарик. Все они

стояли со мной плечом к плечу в воротах альхиба. У нас восемь свидетелей истинных событий штурма Медины.

– Я тронут, – зло скривился нерегиль. – Экое вас одолело трогательное радение об истине и не менее искреннее правдоискательство.

– Зря ядом давишься, – резко ответил мулла. – Мы здесь не из-за тебя, о существо из Сумерек. Скажи ему, о ибн Сакиб.

– Почтеннейший шейх прав, – отозвался Абу аль-Хайр. – Если бы злоба, которой разумное существо обычно отвечает на благодеяние, так не застила тебе взор, ты бы сообразил сам, о нерегиль. Приписать себе все заслуги – это одно. Полководцы и наместники от века делали это. А вот оклеветать нерегиля халифа Аммара в преддверии большого похода – совсем другое. Как ты думаешь, кому выгодно, чтобы во время боев в аль-Ахсе ты сидел на цепи в зиндане?

– Иногда глупость очень похожа на предательство. Но это всего лишь глупость, о Абу аль-Хайр, – устало сказал нерегиль и отвернулся.

– Начальник тайной стражи Басры, к которому джаммазат сейчас несут письмо, отнюдь не глуп, о Тарик. Отнюдь не глуп. Равно как и почтеннейший купец Новуфель ибн Барзах. Тем не менее ибн Барзах велел приказчикам своего торгового дома в Басре передать в дом начальника барида много золота. Очень много. И четырех обученных мединских певиц. Мединская певица может стоить до трех тысяч динаров.

Зачем?

– И зачем? – прищурился нерегиль.

– Мои... люди в окружении халифа пишут, что из Басры шлют донесения, где сказано: карматы не укрепляют побережье.

– У тебя такие же сведения, – спокойно сказал Тарик.

– А еще халифу докладывают, что хребет аль-Маджар не охраняется и не укреплен. Только в долинах за ним стоят два джунда.

– Странные какие-то карматы, – задумчиво потрогал нос нерегиль. – Горная цепь – природная линия обороны. Ее только безумец оставит незащищенной.

– Вот и я о чем. А мои агенты в торговых басрийских домах докладывали, что, когда они вели караваны рабов через перевалы хребта аль-Маджар, они останавливались у подножия довольно серьезных замков.

– Вот это больше похоже на правду, – все так же задумчиво проговорил нерегиль.

– А донесения начальника барида в Басре – на предательскую ложь. За которую очень хорошо платит мединский купец, не первый год ведущий дела с карматами. Поэтому я здесь, о нерегиль. И – клянусь Всевышним! – помешаю предателям и выручу тебя из беды.

Тарик вопросительно поднял бровь: мол, что же ты сделаешь?

Абу аль-Хайр усмехнулся – тоже без слов, но красноречи-

во. Увидишь, Тарик. Скоро увидишь.

И тут в разговор неожиданно вступил джинн. До того он просто поворачивал усатую морду от одного собеседника к другому, следя за словами, как за мечущимся мотыльком.

– Подождите, – поднял уши черный кот. – Подождите. Ты хочешь сказать, о Абу аль-Хайр, что мединский купец, ба-срийский говнюк и еще какая-то не установленная по именам шелупонь вступила в сговор с карматами, прекрасно зная, кому те служат? Что эти недоделанные плуты решили, что могут заключить союз со злым духом? А потом получить прибыль от сделки с адом?

– Да, о дитя огня, – тихо и горько ответил за всех мулла. – Именно так они и думают.

– Человеческая глупость неизлечима, – строго заметил джинн в облике кота.

И все участники странного чаепития горестно покивали.

* * *

*Усадьба в окрестностях Басры,
около двух недель спустя*

С каналов долетали крики лодочников и скрежет норий – водяные колеса неустанно черпали воду для уходящих в сады желобов. Их останавливали только с приливом: наступающее тихой сапой море превращало воду каналов в соленое

месиво коричнево-зеленых водорослей.

От галдежа, мерного скрипа уключин и топота тянущих канаты работников Абу аль-Хайр до смерти устал уже на второй день пути. Теперь он хорошо понимал ибн Фурата, который с пренебрежением отзывался о путешествии по реке на лодке-*хадиди*. Свинцово-серая Нарджис медленно несла их к морю, спутники Абу аль-Хайра дремали под навесом над палубой, а сам он мучился непривычными скукой и бездействием.

Женщин и самое ценное из груза он отправил, конечно, по суше. Да Арва и не села бы на хадиди – тоже начиталась ибн Фурата. Звезда Медины путешествовала с подобающей ее положению роскошью, останавливаясь в богатых усадьбах погостить.

Хозяина Арвы всегда бесило, когда та отправлялась петь в чужие дома, – поговаривали, что он ревновал и бил ее чем ни попадя. Но Новуфелю ибн Барзаху он отказать не смог, хоть и знал, чем кончится дело. Все делалось ради принца Ибрахима, конечно. Несравненная певица утешила любимца столичных жителей и, хоть и не сумела вытеснить из раненого сердца ускользнувшую лаонку, заставила на несколько дней позабыть о горе. В Медине много говорили о том, что произошло на третий день после того, как Ибрахим аль-Махди удержал при себе Арву. Он послал ее хозяину стихи:

По солнцу томиться ночью, поверьте, пытка из пыток,

А в горнице что-то блещет; не золотой ли там слиток?

Земное изображение неугасимого солнца —
Девичье нежное тело, как будто свернутый свиток.

Причастна людской природе она, подобная джиннам;
Кто видел ее, тот выпил волшебный хмельной напиток.

Ее дыхание – амбра, обличье – нарцисс и жемчуг;
В чертах ее ненаглядных сияния преизбыток.

Яйца ступней не раздавит, идет как по стеклам битым;
Одега легкой тканью, где молнии вместо ниток.¹

Впрочем, злые языки говорили, что эту поэму принц Ибрахим приготовил для лаонки, пленившей его сердце золотыми косами. А Арве это все досталось за неимением, так сказать, изначального предмета страсти. Мединка походила скорее на вороную породистую кобылу, чем на «золотой слиток».

Еще к поэме прилагался вполне себе серьезный документ, удостоверяющий, что податель сего может получить в доме уважаемого мединского купца ибн аль-Аббаса четырнадцать тысяч динаров в уплату за невольницу. Правда, говорили злые языки, по курсу десять дирхам за динар, когда везде

¹ Эти стихи написал аль-Аббас ибн аль-Ахнаф, цит. по Ибн Хазм. «Ожерелье голубки» // Средневековая андалусская проза. М.: Художественная литература, 1985.

давали четырнадцать. Но все равно хорошая цена за певицу.

На этом история, правда, не кончилась.

Еще через неделю принц Ибрахим велел отослать Арву в Басру. В дар эмиру верующих – «моему возлюбленному племяннику и сокровищу души я отправляю сокровище моего сердца». Вроде как к письму тоже прилагались стихи, но история их не сохранила. Зато сохранила стихи Арвы. Та написала принцу прощальные строки:

Мы не видели такого и не слышали такого,
Среди всех творений Божьих мы с подобным не
встречались,
У творения такого нос размера нелюдского —
В пядь длиною, а творенье ну не более, чем с палец.²

Нос у сиятельного принца и впрямь отличался изрядной длиною. Правда, кумушки в харимах спорили на предмет того, правдиво ли наблюдение: величина носа в мужчине открывает величину его зебба. Арва развеяла заблуждения мединок самым отчетливым образом. Отосланная в дом к посреднику, певица бесилась и верещала, кидаясь утварью. Ехать в Басру она не желала.

– Как я поеду в такую даль?! Через пустыню!!! Дороги кишат карматами и разбойниками!!! Клянусь Всевышним, я

² Эти стихи приводятся в «Сказке о Нур ад-Дине и Мариамкушачнице» («Тысяча и одна ночь»). Цит. по изданию «Тысяча и одна ночь (избранные сказки)». М.: Художественная литература, 1975.

распорю все подушки, набитые кусочками беличьего меха, и засуну эти кусочки в рот и в нос любому, кто мне еще раз скажет это противное слово «Басра»!

Народ благоговейно толпился перед воротами посредника и внимал ее воплям. Потерявший надежду бывший хозяин Арвы сидел у ворот, орошал рукава слезами отчаяния и грозился прыгнуть с балкона, терзаясь разлукой. Правовверные рыдали вместе с несчастным, многие импровизировали стихи.

Абу аль-Хайр пришел в дом к посреднику и отлупил Арву тростью. После чего связанную шелковыми кушаками певицу вбросили в паланкин и под надежной охраной отправили по северной дороге – в Басру.

Присмирившая за время путешествия по пустыне Арва в землях Бану Худ вела себя прилично, к тому же ее быстро догнала свита невольников и невольниц, скрашивавшая тяготы путешествия. А доехав до изрезанного протоками и тихими заводьями устья Нарджис, мединка и вовсе разомлела: в Басре человек словно попадал в руки опытного массажиста в хаммаме, и зрение начинало сразу же сонно мигать, словно слепили его тысячи бликов на сотне с лишним тысяч каналов и водоотводов, на битых зеркальцах воды трепетали листиками отражения тополей, стройными рядами уходящих в перспективу разморенной неярким солнцем дельты...

От широкой воды канала снова донеслись резкие крики: лодочник орал на работников, тянущих вверх по течению

тайяр – тот задевал боками за нависающие над водой ветви ивы, те плетями перевивались с канатами.

Тягучий вечер медленно гас над равниной, сумерки сворачивались обманными сливками, занавеси из знаменитой плетеной халфы едва отдувались ленивым бризом. Усадьба, в которой остановился Абу аль-Хайр, глядела с холма на канал аль-Файюм, стекая в него десятками протоков и канавок, поскрипывая норями и вздыхая горлицами на ветвях тополей и плодовых деревьев. Ах, басрийские яблоки, кто ел вас, тому несладок любой другой вкус – медовые, желтые, гладкие, с лоснящейся упругой кожурой...

Арва застонала, закидывая назад голову. Абу аль-Хайр провел ладонью по животу женщины – упругая, лоснящаяся, покрытая капельками испарины кожа. В темной впадине пупка задрожала капля. Певица выгнулась сильнее, и истомная влага выкатилась и стекла на кожу Абу аль-Хайра.

– Ты де-еспот, о Абу Хамзан... – с хрипотцой в голосе протянула Арва. – Ммм... деспот, чудовище... куда ты меня привез, о хищный зверь...

И она потянулась губами к его губам. Волосы Арвы тремя длинными косами стекали на спину, он ухватился за среднюю, запустил пальцы в пушистые завитки у самого затылка и долго исследовал языком сахарную слюну за ее зубами.

– Мммм... аххх... пощади, о Абу Хамзан... – застонала Арва, отрываясь от его жадных губ.

Она снова выпрямилась. Абу аль-Хайр прикрыл глаза:

все-таки не зря говорят, что лучше всего пробовать женщину, которой за двадцать пять...

– Ммм... мой суровый повелитель... что я буду делать во дворце эмира верующих... ах... великая госпожа сживет меня со свету...

Разговор переходил к важным предметам.

Абу аль-Хайр властно приподнял женщину над собой. Сел, уложил Арву на спину. Всем новомодным ухищрениям он предпочитал отцовские наставления: женщина должна быть под тобой.

Арва мерно вскрикивала, крутила головой, раскрывая рот, как вытащенная на берег рыба. Абу аль-Хайру рассказывали, что в здешнем ханьском квартале проститутки умудряются во время скачки еще и на лютне играть. Кому нужны эти ваши лютни...

Потом он удовлетворенно похлопал ее по бедру:

– Не тревожься, о женщина. О благосклонности эмира верующих позаботится *сахиб ас-ситр*, я уже написал ему о... тебе.

На самом-то деле Абу аль-Хайр писал хранителю ширмы – доверенному слуге халифа, ведавшему доступом к повелителю ходатаев, а также представлением новых невольниц, – несколько о другом.

– Скажи-ка мне, откуда родом эта твоя ученица... как ее... Шаадийа?

– Из Магриба, – мягко отозвалась певица. – Она берберка.

Арва, томно жмурясь на вечерний свет за огромным, в пол, окном, переплетала влажные волосы.

– Берберка... Это хорошо.

Недаром Джибрил ибн Бухтишу в своем трактате «О свойствах женщин» писал, что идеальная женщина – это берберка, лучше всего – из племени кутама, купленная в девятилетнем возрасте, которая три года провела в Медине, обучаясь пению, а три – в Ятрибе, изучая танец, а затем отправленная в Хорасан – постигать изящные искусства. Если ее купить в восемнадцать лет, она сочетает в себе хорошую породу с кокетством мединки, нежностью ятрибки и образованностью парсиянки. Шаадийа в Хорасане не училась, зато обладала другими достоинствами: ей еще не исполнилось шестнадцати и она была девственна. Еще говорили, что люди, приходившие послушать ее пение, улетали душой и разрывали воротники одежд, обливаясь слезами.

Шелестели, шевелились плетенные из халфы занавеси. Тополь за окном дрожал мелкими, серыми с исподу листочками. Угу-гу, угу-гу, ворковала горлица.

Коса текла с плеча Арвы, а та зябко укутывала себя в рубчатый хлопок простыни.

Завтра. Завтра – решающий день. Именно его назначил для приема Якзан аль-Лауни, хранитель ширмы эмира верующих, уведомляя об этом своем решении в написанном обратным, зеркальным почерком письме.



*Дворец Умм-Каср в окрестностях Басры,
ночь следующего дня*

Блуждающую среди рисовых полей речку называли Шатт-аль-Араб. По ночному времени вода стояла низко, в заслонках отводных канав мягко журчало.

Под высоким, ярко-звездным безоблачным небом разгороженные гривками травы озера шли мелкой черноватой рябью. С моря дул вечный ветер. Он дергал за какие-то странные ленты, висевшие на деревянных шестах, – на ровно расчерченных травяных межах то и дело торчала такая палка. Зачем?

Лодка с деревянным грохотом ударилась о ступени причала.

Абу аль-Хайр вздрогнул. Ну что ж, вот она, твоя ночь удачи, о Абу Хамзан.

Судьба не Бог, ей не подчиняйся, говорят бедуины. Да пребудет со мной Твоя милость, о Всемогущий...

Абу аль-Хайр обернулся к тем, кто сидел на скамье позади него. Лодочники видели молоденького гуляма и двух наглухо закутанных женщин. Оставалось лишь надеяться, что среди воинов *хурса*, внутренней стражи резиденции халифа, сегодня не стоят сумеречники. Или стоят, но не напрягают

второе зрение.

Потому что плавнодвигающийся высокий худощавый юноша, конечно, не был гулямом Абу аль-Хайра. Он вообще не был человеком.

Тарик менял лица, как знатная женщина покрывала: вчера он виделся молоденьким тюрком с плоским носом и большими карими глазами, они пересаживались на другой корабль – и Абу аль-Хайр, вздрагивая, обнаруживал у себя в отряде смуглого поджарого ханетту. Спускаясь вниз по Нарджис, он старался часто менять *хадиди* – чтобы не выследили. Опытный взгляд человека барида отмечал *особую* суету на пристанях, некоторых неспешных посетителей в чайханах, усталых и оттого медлительных путников у больших прудов-водопоев под куполами – это еще на дороге через земли Бану Худ. Некоторые феллахи, выносившие, как то требовали установления веры, ведра воды на дорогу, смотрели слишком пристально. Умными глазами совсем не сельских жителей. Однажды он чуть не обмер – вот уж тогда-то понял Абу аль-Хайр, что значит «оцепенеть от страха»... На одной из пристаней он увидел у навеса лавки зеленщика худенькое существо с острыми ушками и очень неподвижным лицом. Лицом, обращенным к людям, что сходили с лодки на берег. На сумеречнике болталась обычная ашшаритская одежда – *маджус*, как невольники, так и свободные не брезговали ей, случись им задержаться в аш-Шарийа – но от него плыло что-то... как жар от зимней печки... нет, как дымок

гашиша из кальяна в подпольной курильне... От странного желания подойти и назвать свое имя Абу аль-Хайра избавил резкий голос Тарика:

– Только не надо ссать, о ибн Сакиб. Ссать – это лишнее.

Непристойные слова стряхнули наваждение. Пожилой джунгар с бледным тонким шрамом через верхнюю губу презрительно фыркнул:

– Этому гаврику меня не прочухать, о ибн Сакиб. Хотя гаврик стоит ничего такой... хорошо работает, хорошо...

И, беззаботно вскинув на плечо полосатый тюк с запасной одеждой, пошел вперед.

С худеньким остроухим существом, источающим едкий запах опасности, поддельный джунгар разминулсся едва ли в десятке шагов – опять задирался с судьбой, не иначе. Нерегиль, что с него взять...

Тарика, похоже, искали повсюду – большой силой. Видно, велика была ярость эмира верующих, раз столько агентов разом вышли на улицы, площади и пристани аш-Шарийа по всем дорогам, ведущим в Басру. Абу аль-Хайр представлял себе полные гневных приказов депеши и не завидовал местным начальникам отделений барида: им велено было совать в морду фирман, вести к ближайшему кузнецу, а потом пихать головой в яму. А нерегиль – вот незадача! – пропал. Опять! Опять пропал шайтанский нерегиль! Словно иблис забрал к себе этого врага веры!

А все потому, что от Хиры на Басру ушли два каравана.

Один – с айярским конвоем, маридским отрядом, певицами и свитой невольников – по дороге на ар-Рабат и Сану. А второй караван и караваном-то назвать было нельзя: так, десяток правоверных идут-пылят в долину Нарджис, все при оружии, но сейчас кого этим удивишь, все эмиры собирают ополчение, уж три месяца как объявлен джихад против нечестивых еретиков-карматов. Вот и идут храбрые воины-гази к реке, чтобы на лодках отплыть в Басру и там присоединиться к походу эмира верующих. Нужно было видеть, с какой ехидной, прямо-таки истекающей ядом мордой нерегиль повязывал вокруг головы белую чалму воина веры.

Так что после Хиры никто больше не видел гвардейский отряд, везущий нерегиля халифа Аммара. А все внимание приковывал к себе невиданный поезд: марида! Арва, владычица красавиц Светозарного города! Луноликие гулямы и полногрудые невольницы знаменитой певицы! Абу аль-Хайр про себя молился, чтобы к тому времени, как он доставит завывающегося змеиным хвостом аль-Кариа к халифу, никого в бариде не повесили и не лишили головы – за неисполнение долга и приказа эмира верующих.

Оба каравана соединились лишь в усадьбе под Басрой: ее владелец был обязан Абу аль-Хайру жизнью, свободой, имуществом, жизнью домашних и их свободой.

Этого купца два года назад в Ятрибе поймали с поличным на скупке невольников для перепродажи карматам. За это не просто рубили голову. Виновных сначала оскопляли,

а потом топили в выгребной яме. Купец благодаря заступничеству Абу аль-Хайра отделался конфискацией товара. Спасенных от страшной участи невольников – большей частью язычников – продали известным своей добродетельностью людям, которые могли бы преподать рабам основы веры Али. Эмир Васита купил тогда четверых особо статных и красивых, а потом передал их в дар эмиру верующих – не аль-Мамуну, конечно, а покойному его брату. Один из невольников оказался еще и очень умным. И проницательным. Его таланты быстро заметили, и он стал хранителем ширмы во дворце халифов. Якзан аль-Лауни хорошо запомнил человека, по приказу которого их, звенящих цепями, выводили из того жуткого подвала. Впрочем, говорили, что *сахиб ас-ситр* помнит все лица, когда-либо мелькнувшие у него перед глазами. Помнит лица. Имена. Намерения.

Так или иначе, но Абу аль-Хайру он был обязан жизнью: все очень хорошо знали, зачем карматам нужно столько рабов. Поэтому *сахиб ас-ситр* очень быстро ответил на письмо ятрибского начальника барида – и открыл ему путь во дворец халифа. Впрочем, говорили, что всесильный хранитель ширмы отвергает и одобряет ходатайства о приеме у эмира верующих невзирая на лица, связи и родство подающих прошение. Эмиру Васита он отказывал дважды, и один раз его бывший хозяин орал прямо в Миртовом дворе, понося негодного раба, забывшего об оказанных ему благодарениях...

...Гулко стукнули доски сходней, заскребли по борту прибитыми снизу толстыми рейками.

– Кто вы и с чем идете в Умм-Каср?

Даже из лодки не дали выйти – сразу притопали. Желтые сапоги стражника скрипели, подол желтой же рубахи под длинным панцирем трепал речной ветер. Оковка булавы внушительно посверкивала: на пристани стояли огромные железные чаши на гнутых ногах, в них билось сильное пламя.

Абу аль-Хайр молча протянул стражнику перстень с рубином. Камень неброско темнел в узкой оправе. Стражник нагнулся, брякнув пластинами панциря. Тоненько зазвенела кольчужная сетка под гладким шлемом.

– Мне назначено время у ширмы. Вот знак сахиба ас-ситр, – тихо и значительно проговорил Абу аль-Хайр.

– Господин хранитель ширмы ждет тебя и твоих спутников, – бесстрастно ответил стражник, возвращая перстень.

На зубчатых башенках ворот тоже плескались огни. Заскрипела калитка:

– Заходите, во имя Всевышнего! Так дует, пожалейте мои старые кости!

Привратник кашлял и запахивал ватные полы халата. Абу аль-Хайр услышал за спиной злобный смешок. Приглашенный внутрь аль-Кариа, видимо, посылал прощальный привет ненависти всем шести медальонам в резьбе арки: в круге три лепестка, и в каждом письменами куфи выведено – Али,

Али, Али.

Их долго вели по наспех отмытым и завешанным коврами залам.

В очередном внутреннем дворике посетителям велели сесть и ждать. Вместо ковров здесь лежали местные плетеные циновки из вездесущей халфы. За что ее так в столицах ценят, аж до такой степени, что подделывают, – непонятно.

– Скажи мне, о ибн Сакиб, – вдруг тихо позвал Тарик. Абу аль-Хайр нехотя повернул голову. Ну чего тебе нужно, змей ты ползучий...

Надо сказать, с Тариком он поступил не слишком хорошо: попросту ничего не рассказывал. Абу аль-Хайр решил, что чем меньше у нерегиля сведений, тем меньше соблазна пуститься в приключения. Вот жду ответа от хранителя ширмы, вот получил ответ от хранителя ширмы, вот сегодня ночью идем во дворец, – а в остальном положишься на меня, о Тарик.

Конечно, Тарик злился и прижимал уши. Пытался расспрашивать – и подслушивать. Мысли. Ха. Знаем мы вас, сумеречных. Учитель Абу аль-Хайра, смеясь, говорил: нет ничего проще, чем отвадить самийа от колодца твоих мыслей. Просто не забывать говорить себе: я это думаю только для себя. Ты ж про намаз не забываешь? Вот и про это не забывай. О, как сильно злился и прижимал уши Тарик!..

И даже сейчас нерегиль не может смириться и пытается выкусить хоть крошку знания:

– Скажи мне, ты... написал ему правду? О том, кто придет на прием?

– Да, – коротко ответил Абу аль-Хайр.

До того он ограничивался мотанием головы и красноречивым мычанием хранителя важного секрета.

– Ты рехнулся? – страшно зашипел Тарик.

– Эй-эй!.. Ты мой гулям! Забыл? С господином так не разговаривают!

– Как ты мог?!

– Якзана аль-Лауни невозможно обмануть – даже в письме, – устало объяснил Абу аль-Хайр.

– Да с чего ты решил, что этот Якзан аль-Лауни будет мне помогать?!

– Ты все мозги в пустыне оставил, о... тьфу на тебя. Ладно, ты не знаешь, что последний год происходило в халифском дворце, – это понятно. Ладно, имя тоже ничего не говорит тебе, – ну и вправду, «Бодрствующий», таким часто награждали невольника-привратника. – Но ты бы хоть на нисбу его посмотрел, о бедствие из бедствий...

– Нисбу?.. аль-Лауни?..

– Именно.

– Ты хочешь сказать, что он из Лаона? Человек по имени Якзан?

Над ними раздалось вежливое покашливание. И глуховатый, как нижняя струна лауда, но четкий для слуха голос произнес с сухой лаонской церемонностью:

– Госпожа моя матушка назвала меня Иорветом.

Абу аль-Хайр с трудом, нехотя и с нехорошим комком в груди поднял глаза.

И снова – как в ту душную пыльную ночь в Ятрибе, как в тот памятный день в Баб-аз-Захабе, когда он приносил присягу, – встретился с нездешним, обморочно-спокойным взглядом существа, душа которого слабо прищиплена к телу и вьется на ветру вечности, трепеща в пустой голубизне небес.

– Приветствую тебя, о Абу Хамзан, – бледные губы изогнулись в намеке на улыбку.

Почему-то Абу аль-Хайр чувствовал, что «я это думаю только для себя» ему не поможет. Сероватые в желтизну глазищи смотрели в какое-то другое зеркало его души, заложенное глубже, чем плавают мысли. Туда, куда сам Абу аль-Хайр не стал бы заглядывать.

– Прошу прощения за то, что не имел чести знать такое достойное имя, – на безупречном ашшари промурлыкал Тарик.

И, судя по шерстяному шороху джуббы, склонился в низком поклоне. Давай, замурлыкивай оплошность. Человечек из Лаона, как же...

Глазищи смигнули, и Абу аль-Хайра попустило. Шелестя сукном черной парадной фараджийи, хранитель ширмы спустился на циновки дворика. Они все продолжали сидеть как сидели на этой халфе: Якзан аль-Лауни выступил из черноты

внутренних покоев совершенно неожиданно. Сумеречник в черном придворном платье чиновника высшего ранга чуть наклонился – рукав кафтана почти касался плеча Абу аль-Хайра. Видимо, смотрел в глаза Тарику.

Оборачиваться не хотелось, а сумеречники молчали. Потом лаонец резко что-то сказал – по-лаонски.

– Тебе-то откуда знать? – так же резко – но на ашшари – ответил Тарик.

Видимо, Якзан аль-Лауни улыбнулся: то еще зрелище, надо сказать. Как будто всплывает из-под льда бледное, бледное лицо... странно, кстати, почему бледное, хранитель ширмы не отличался цветом кожи и волос от остальных своих золотистых, переливающихся рыжиной сородичей.

Нерегиль резко выдохнул. Но смолчал – вот диво дивное. Впрочем, с хранителем ширмы обычно не спорили, это точно.

Сахиб ас-ситр переступил по циновке мягкими туфлями и наклонился чуть сильнее: видимо, чтобы заглянуть в глаза женщинам. Сначала Арве – та придушенно пискнула. И тут же осеклась. Потом Шаадийе – та стойко смолчала. Молодец девчушка, то, что надо.

– Да-аа... – согласился Якзан аль-Лауни, разгибаясь.

И добавил, пока Абу аль-Хайр не успел удивиться:

– Ты, о Абу Хамзан, и ты, о девушка, которую называют Шаадийа, но которую на самом деле зовут Хинан, идите за мной. А... ты... и ты – ждите.

– ...Хмм... Я полагал, что в Басре среди чиновников только один предатель – эмир... – задумчиво проговорил халиф, пощипывая короткую черную бородку.

И перевел взгляд на Якзана аль-Лауни, сидевшего, как и полагалось, у занавеса.

Тронная подушка-даст лежала в остроконечной стенной нише, выложенной золотисто-синими изразцами. Из-за света лампы казалось, что халиф сидит внутри яркой шкатулки. Помятый за множество приемов занавес был отодвинут в сторону, и хранитель ширмы небрежно придерживал его локтем. Вторая рука неподвижно лежала на колене подвернутой ноги.

Поймав взгляд халифа, сумеречник бледно улыбнулся. И покосился в сторону Абу аль-Хайра – говори, мол.

Тот сказал:

– У эмира-предателя должны быть сообщники. Много сообщников, о мой халиф.

– Мне нужны доказательства. Бессудных казней и убийств я не допущу.

– Подойди сюда, о Хинан, – вдруг кивнул золотистой головой лаонец.

Девушка скользнула вперед с опытной грацией танцовщицы.

– Она добудет нам доказательства, – подтвердил Абу аль-Хайр.

– Как?

– Сколько стихов ты помнишь на память, о Хинан?

– Не более десяти тысяч, – смутившись и закрываясь рукавом, ответила она.

– Она запомнит пару разговоров, – морозно улыбнулся су-мечник. – И еще больше имен.

– Одобряю, – наконец кивнул повелитель верующих. – Арву я не приму. Пусть ее приготовят для... внутренних покоев...

И халиф тяжело вздохнул.

Да, нелегко ему приходится. Великая госпожа Буран известна своей ревностью. Собственно, на этом и строился весь план...

– Ты сказал, меня ожидают четверо. Я принял двоих, не принял одного. Четвертый?..

– Разрешения предстать перед эмиром верующих покорнейше ожидает Тарег Полдореа.

Когда ритуальная фраза отзвучала, Абу аль-Хайр зажмурился.

И правильно сделал.

– Что-оо?!.. – заорал аль-Мамун.

Якзан аль-Лауни отрешенно молчал, переводя глаза с одной резной балки на другую.

– Я был лучшего мнения о тебе, о Якзан! Как ты посмел?! Как ты посмел привести его перед мое лицо?! И это после того, что он вытворил в Медине?!

От крика на лбу аль-Мамуна выступили жилы. Да, крепко

ты достал своего господина, Тарик, ох, как крепко...

Лаонец поднял и опустил уши. Затем искренне удивился:

– В письме Ибрахима аль-Махди – сплошное вранье.

Буря тут же стихла.

– Что?..

– Вранье. – Для верности еще и кивнув, лаонец опять принялся выгуливать взгляд по потолочной резьбе.

Потом, пользуясь потрясенным молчанием аль-Мамуна, добавил:

– Тарег Полдореа защищал Медину и ее жителей в воротах Куба-альхиба. Почтеннейший Абу аль-Хайр ибн Сакиб сражался с ним плечом к плечу и может подтвердить мои слова. И все его люди – тоже.

К чести аль-Мамуна нужно было сказать, что он овладел собой очень быстро:

– Мне не нужны свидетели для подтверждения твоих слов, о Якзан.

Как обидно-то, сколько народу ехало. Ну-ка встряну:

– Прости меня, о мой халиф, за непрошенный совет. Но тот, кто оболгал Тарика, преследовал свои цели.

– Выходит, все ниточки сходятся к здешнему начальнику барида... – задумчиво протянул аль-Мамун. – То-то он так из кожи лез... Но на прием не пришел, все больным сказывался...

И вдруг халиф встрепенулся:

– А ты! Якзан! Почему ты мне не сказал?!

Лаонец вынырнул из собственного личного моря:

– Ты не спрашивал меня о письме принца Ибрахима, господин.

Вот так.

Вот так вот. Ты не спрашивал.

Кто-то говорил, что Якзан аль-Лауни не в себе. Кто-то боялся его так, что не говорил о нем вообще ничего.

«Я последний из клана», – тогда, в Ятрибе улыбнулся ему лаонец из-под маски пыли и грязи. «Что-то я замешкался на этом свете», – добавил он с отсутствующим видом существа, перед чьими глазами проходит гораздо больше, чем хочется или нужно видеть ради сохранения рассудка. Вроде как свои – ну да, враждебный клан – так вот, «свои» побоялись его убивать и привезли к бедуинам связанным, с замотанной в мешок головой. Лаонцам тоже не хотелось смотреть в серо-желтые совиные глаза, вечно вперенные в какой-то пейзаж на Той Стороне. Бедуинам было на все плевать. Купцу-работоторговцу тоже. Эмир Васита выдержал месяц. Выпоров сумеречника в очередной раз – Иорвет, точнее, уже Якзан, еще и говорил правду, всегда только правду – эмир решил преподнести халифу аль-Амину подарок. А что? Воин-самийа, длинноногая грациозная смерть с совиными пустыми глазами. Очень дорогой товар, не всякий может себе позволить. Только товар этот оказался воистину штучным...

Рассказывали, что новый халиф случайно услышал, как один из стражников *хурс* – а Якзан нес в тот день службу

в зале приемов – что-то фыркнул на своем языке. Ну, после доклада очередного сановника. Потом тот же воин, уже в другой день, пробурчал что-то еще. Опять же, по-своему. Тогда аль-Мамун не поленился позвать знатоков лаонского и прозанимался с ними достаточно, чтобы понять бурчание чужеземного гуляма.

В то, что аль-Мамун учил лаонский только для этого, или вообще учил лаонский, Абу аль-Хайр не верил, но так рассказывали. Так или иначе, но эмир верующих понял: сумеречник знает ашшари. Ибо лаонец ворчал на предмет того, что кто-то очень большой враль. И присовокуплял не самые пристойные слова в адрес враля. Потом халиф вызвал сумеречника и хорошенько допросил его. А потом, думал про себя Абу аль-Хайр, эмиру верующих стало настолько страшно, что нужно было либо рубить самийа голову, либо делать его хранителем ширмы. Так Якзан аль-Лауни получил свою должность.

Кстати, о войне. Говорили также, что госпожа Мараджил уже пару раз подсылала к Якзану людей с очень длинными и острыми ножами. Лаонец каждый раз оказывался быстрее. Сахиб ас-ситр листал людей, как книги, а клинком владел не хуже, чем зеркальным почерком. Кстати, говорили еще, что Якзан аль-Лауни умеет ходить через зеркало. Враки, конечно.

...Халиф, тем временем, поносил лаонца последними словами:

– Как ты мог, Якзан?! Ты знал и молчал! Как ты мог выставить меня дураком перед всем светом!..

Откричавшись, аль-Мамун принялся отдуваться и промакивать лоб краем чалмы.

Якзан молчал со своим всегдашним отсутствующим видом – и смотрел в потолок.

Халиф вздохнул и вдруг, ни с того ни с сего, спросил:

– Ну почему, почему Тарик сбежал из Мейнха, а? Почему он все время норовит сбежать от меня?

Абу аль-Хайр почувствовал, как поднимается у него чалма на вставших дыбом волосах. Халиф не ожидал ответа на свои горестные вопросы – он обращал их ночи, лампе, изразцам пола: словом, жаловался на судьбу.

Ответ, между тем, пришел мгновенно. Якзан аль-Лауни отчеканил:

– Тарег Полдореа полагал, что ты приказал убить своего брата, его жену и его ребенка.

Абу аль-Хайр почувствовал, как бьется где-то под потолком мотылек.

Все так же безмятежно лаонец продолжил:

– Но я сказал ему, что он ошибается, а вся вина за убийства лежит на твоей матери и матери твоего брата.

Мотылек стрекотал крылышками. Время сгустилось, как смола, и застыло.

– Позови нерегиля, раз уж ты его привез, о Абу Хамзан, – кашлянув, приказал аль-Мамун.

Ноги затекли, а жизнь почти иссякла в Абу аль-Хайре, но он нашел в себе силы встать и выйти из приемного зальчика. В соседней комнате горела одинокая лампа у стены. Вон он, этот внутренний дворик.

На циновках из халфы, свернувшись калачиком, безмятежно спала Арва.

Одна.

Нерегиля во дворике не было.

– Что же ты делаешь, сволочь. Что же ты делаешь, аль-Кариа, бедствие из бедствий, пакостное ты подлое чудище! – ахнул Абу аль-Хайр.

И в отчаянии сел на темные, склизкие от росы ступени.

* * *

Умм-Каср, незадолго до этого

Когда существо в черной придворной фараджийе, поманив за собой Абу аль-Хайра и Шаадийю, скрылось в ночной, пахнущей алоэ темноте, Арва боязливо выдохнула воздух – а до того, похоже, и не дышала, до того боялась пошевелиться:

– Тьфу ты, страсть какая, хуже гулы...

И обернулась к сидевшему рядом юному невольнику:

– А ты, братец, не испугался? А, красавчик?

И, поправляя край платка, поиграла бровью. Абу аль-Хайр, видать, обзавелся гулямчонком: этого юношу Арва

еще не видела среди слуг. Явно из кипчаков, безбородый, полногубый, с миндалевидными оленьими глазами – вах, этот отрок чаровал взгляды мужчин и женщин, и всякий мог искать его расположения. Вот почему господин не призывал ее последние два дня – не иначе как уединился с новым приобретением...

Поганец тем не менее даже глазом в ее сторону не повел, словно муха ему прожужжала. Ну, точно любимчик. И какой нравный – всего-то пару раз водил его господин в спальню, а уже нос задрал, фу ты ну ты...

Под арками в темноте галереи кто-то пошевелился.

– Кто там? – вскинулась Арва.

А вдруг это евнухи Великой госпожи, придушат еще!..

– О владычица красавиц, от вида которой луна говорит: «Мне стыдно, я скроюсь!» Мое имя – Зейнаб, и я служу здесь всем женщинам и девушкам без изъятия, – прошамкал из ночного безвидного места старческий голос.

И на халфу осторожно сползла, кряхтя и посапывая, тучная старуха, туго обмотанная хиджабом, цвет которого угадывался даже в темноте – красный. Нет, конечно, хиджаб был черным, но в том, что это сводня, сомневаться не приходилось.

Арва без колебаний сняла с пальца кольцо с сапфиром – подарок давешнего неблагодарного, чтоб ему зебб отсох, а яблоко всегда казалось лимоном. Она-то уж видела себя в столице, а этот черный жирный ишак... Ну да ладно.

– Мир тебе, о матушка. Я здесь как одинокая птица на ветке, просвети малознающую, бредущую на ощупь...

Старуха подковыляла ближе и грузно плюхнулась на циновки. Без малейшего смущения смахнула с ее ладони перстень, поднесла к крючковатому носу. И горько покачала головой:

– Горе тебе, о девушка, не знающая здешних порядков и обычаев...

Арва быстро сняла с пальца еще один, с хорошим ярким яхонтом.

– Ну... – Сводня пожевала волосатыми губами, потом удовлетворенно кивнула глубокому свечению камня. – Вот что ты должна знать, о девушка. Великая госпожа более всего любит, когда ей самолично подносят по утрам парное молоко. Так что прям завтра ей чашку неси. Стражу в хариме нынче несут не евнухи, а поганые кафиры-сумеречники с ихними бабами. Баб тех подкупить никак нельзя, только словами договаривайся. Деньги не суй – получишь тростью от зрителя занавески, ты его, льва рыкающего, видела уже.

Арва только сглотнула.

– И вот еще что... – покивала старуха, заправляя волосы под платок. – Рядом с Великой госпожой во всякое время сидит сумеречница, что над всеми сумеречницами-охранницами главная. Лицом белая, мордой острая, волосищи смоляные текут рекой! Платьев на ней понадевано – аж шесть штук, одно другого краше. То волшебная женщина, и служит

она нашему святому шейху Кассиму аль-Джунайду, мир ему и благословение от Всевышнего, но правоверная она или нет – о том мне неизвестно. Главной сумеречнице тоже оказывай почет и уважение, не то – сама знаешь – проклянет тебя шейх. Он здесь тоже поблизости обретается. Ну вот, теперь тебе все известно, и да убережет тебя Всевышний. А что ж тебя одну-одинешеньку здесь оставили?

– Как одну? – всполошилась Арва. – Я с...

Она быстро обернулась, но никакого кипчакского гулям-чонка рядом с ней уже не было – словно юноша привиделся ей в неверных приморских сумерках.

Повернулась обратно к старухе – ее тоже след простыл. Тьфу, заколдованное место, ночь – джиннам, день – нам.

Вздыхнув, Арва прилегла на циновки и свернулась калачиком. Выспишься, хоть цвет лица не погубишь. А цвет лица ей очень, очень скоро понадобится.

* * *

Майеса сидела на красивых ровных циновках и целилась веером в лаковую шкатулку. Подобно черному жуку, шкатулка блестела поверх ларца для зеркала, ларца для притираний и трех больших ханьских коробок для заколок. Пирамидку на спор отодвинули на шесть шагов, а веер то и дело сдувало залетавшим из садов бризом.

– Третий раз – последний, Майеса! – не иначе как под руку

пропела Саюри.

– Бро-сай! Бро-сай! – захлопали в ладоши остальные.

Майеса плавно вбросила веер в воздух. Он послушно проплыл до пирамидки – и скользнул по верху шкатулки!

– Ах! Дурной, злой ветер! – воскликнула девушка.

– Платье – долой! – в экстазе заорали все и принялись тащить за рукава, стягивая с нее уже третий слой одежд.

Но ничего, на Саюри уже и следующего *хитами* не было, а две прозрачных рубашки поддерживала хлипкая лента алого кушака. Хохоча и притворно отбиваясь, Майеса мотала головой и дергала локтями, заваливаясь то на один, то на другой бок.

– Кто следующий? – прыгая, как бесенок, Эда подхватил на другом конце комнаты ее веер.

И раскланялся, подражая движениям церемонной дамы Амоэ.

– Отдайте веер, юный господин! – засмеялась Майеса.

Эда щелчком сложил его и бросил обратно. Поскольку Майесу как раз потянули в сторону, она завалилась на циновки, и веер пролетел мимо.

Пролетел и – угодил прямо в мужчину, шедшего себе по галерее-энгаве.

Мужчину?!

Все мгновенно оказались на ногах, позабыв про игру.

– Кто вы такой? Это женская половина! – строго сказала Саюри, опуская руку к рукояткам *тикка*.

– И как вы сюда попали? – плавно выступил на энгаву господин Ньярве.

Действительно, в первом дворике женской половины, который все тут же стали называть Двором золотых колокольчиков, несли стражу дама Амоэ и дама Тамаки. Как чужой мужчина умудрился пройти мимо них?

Фигура незнакомца чернела против рассветного полумрака. В звонкой тишине таинственный гость поднес руки к лицу и провел ими ото лба к подбородку, словно умываясь или стряхивая с кожи пыль.

– Проклятье... – тихо сказал господин Ньярве и отступил на шаг.

А Майеса почувствовала, что вот-вот упадет. И, задыхаясь, поднесла руку к сердцу.

– Простой жест – а сколько благодарных зрителей, – резко прозвучал от арки голос княгини. – Добро пожаловать обратно, Тарег-сама.

И оба одновременно положили руки на рукояти мечей: Тамийа-химэ – на оголовье тикка, Тарег-сама – длинного человеческого клинка в битых черных ножнах. Сердце Майесы провалилось еще ниже.

– У меня к тебе незаконченное дело, Тамийа. Мы закончим его между тобой и мной, как подобает воинам. Остальным нет дела до нашего разговора.

Князь говорил грубо и зло – хотел, чтобы Тамийа-химэ потеряла лицо перед слугами.

– Тогда пойдем в сад, Тарег-сама, – спокойно отозвалась госпожа.

Эда медленно, как во сне, двинулся вперед – но Тамийа-химэ властно подняла ладонь:

– Нет.

Князь медленно повернулся и нарочито неспешно пошел по ступеням вниз. Госпожа вскинула голову и двинулась следом. Саюри рухнула на колени, припадая к ее шлейфу:

– Химэ-доно... химэ-доно... – малодушно всхлипывала она, – извольте распорядиться – я оповещу...

– Нет, – не отрывая взгляда от высокой темной фигуры, проговорила Тамийа-химэ.

Но на ступенях не удержалась, выхватила из-за пояса шелковый мешочек с прядкой волос младшего сына и встряхнула его перед собой:

– Что изменит наш поединок, Тарег-сама? Что ты скажешь моим детям?

А он крутанулся вокруг своей оси – так что полетел из-под ног песок, и прошипел в ответ:

– У меня тоже могли быть дети! Не смей вымогать мое прощение, тыча семейным горем! Предательница!

– Тебя предала Айша! Прошло семьдесят лет, Тарег-сама! Что это изменит?

– Бедуины говорят: отомстил через сорок лет – поспешил, – с кривой демонской улыбкой сказал князь. – Я умею ждать лучше, чем бедуины. А ты, Тамийа, видно, решила,

что, раз я не прихожу за тобой, я раздумал мстить?

– Искренне признаюсь тебе, Тарег-сама, – горько сказала княгиня, – да, я так думала.

– Глупый кролик, – ощерился нерегильский князь. – Вынимай меч. Шалости – для детей...

– ...и только мечи с тобой навсегда, ибо никогда не устают, – тихо закончила за него старинное присловье Тамийа-химэ. – Позволь мне биться семейным оружием, Тарег-сама. Его должны принести из моих покоев.

– Позволяю, – криво улыбнулся князь.

И пошел в глубь сада. Росистая трава, на ней очень, очень скользят ноги.

– Эда, – почти не поворачивая головы, отдала распоряжение госпожа.

Коротко всхлипнув, оруженосец метнулся исполнять волю княгини.

Когда Тамийа-химэ ступила на траву, господин Ньярве одними губами сказал Саюри:

– Быстро. Беги. К Джунайду-сама. И ори на весь дворец.

– Что?.. – ахнула девушка.

Да и Майеса тоже ахнула, даже рукавом рот прикрыла. Как?.. Ведь...

– Быстро беги, дура, – прошипел господин Ньярве. – У химэ-доно хорошая школа – она отразит два, возможно, даже три удара. Быстро беги, пока есть время!!!...

Тут у Майесы подкосились ноги, и она вдруг оказалась

на циновках посреди раскинувшихся шелков своих нижних платьев.

– Ах! – пришлось опереться ладонью о пол.

Парусящая рукавами Саюри и Эда разминулись в арке, обменявшись безумными взглядами. Заливаясь слезами, оруженосец упал на колени и быстро пополз к ступеням в сад:

– Химэ-доно... химэ-доно...

Тамийа-химэ медленно спустила с плечей верхние платья. Перевязала рукава нижней *хитама* белым шнуром, поданным плачущей Айко. Тарег-сама темной статуей стоял между двух шелестящих ив, над круглым зеркалом пруда.

Когда госпожа подняла обеими руками фамильный меч, из дальних комнат послышались отчаянные крики Саюри:

– Помогиии-теееее!..

– Преданные у тебя слуги, Тамийа, – нехорошо усмехнулся князь.

И резко выхватил меч, отбросив в траву ножны.

Госпожа обнажила клинок подобающе неспешным движением. Ножны оставила в левой руке. Медленно присела в поклоне. Тарег-сама лишь издевательски усмехнулся.

И странным, плавным, но совершенно не укладывающимся в голове движением отвел поднятый меч в сторону.

Теряя самообладание, Майеса снова поднесла к губам рукав.

– О боги, только не это... – прошептала она.

– Пожалуй, насчет трех ударов я погорячился, – запинаясь от страха, пробормотал господин Ньярве.

Его не за что было упрекнуть: они смотрели на самую страшную стойку из всех, что встречаются на пути меча, – «молчащую». По ней нельзя сказать, каков будет нанесенный удар. Поэтому от такого удара практически невозможно защититься.

Княгиня, осторожно ступая босыми ступнями по мокрой траве, принялась медленно кружить вокруг Тарега-сама. Тот смотрел на нее уже не хищными, а совершенно спокойными глазами. И слегка поворачивался, словно его вел за собой кончик меча Тамийа-химэ.

– Химэ-доно-о... – простонала Майеса, не в силах сдерживать рвущийся наружу страх.

Свист, резкий блик на клинках, лязг.

Видимо, она все-таки вскрикнула, ибо обнаружила, что зажала ладонями рот.

Княгиня медленно отвела в сторону руку с тем, что осталось от перерубленных ножен. Отбросила их в траву.

Противники вновь закружились, настороженно пробуя пальцами траву под ногами. Тамийа-химэ крикнула и бросилась вперед, атакуя.

* * *

Абу аль-Хайр просто сидел. У него не было сил встать и

вернуться. У него вообще не было сил.

И вдруг со стороны внутренних покоев раздался пронзительный женский крик.

Арва ахнула и тут же подскочила на тростниковом коврике, запахивая хиджаб. Абу аль-Хайр ахнул следом.

Из темноты на них, мелко перебирая ножками в белых-белых носочках, придерживая разъезжающееся в стороны запашное платье, выскочила женщина с голым лицом сумеречницы. И, увидев ошалевших ашшаритов, отчаянно закричала:

– На помощь! На помощь! Скорее! Князь Тарег Полдореа изволит убивать княгиню Тамийа-химэ! По-мо-гитееее!..

И, все так же истошно голося, засемила дальше – видимо, ей казалось, что это она бежит, причем быстро.

– Ааааа!..

Абу аль-Хайр неожиданно для себя вышел из тупого оцепенения и бросился вперед.

– Куда! Куда, о Абу Хамзан! Там же харим! – верещала сзади Арва.

Таких, как он, взбудораженных криками и наплевавших на приличия, оказалось немало. Грохоча каблуками по доскам и изразцам полов, они неслись через дворики и арки, стараясь не смотреть по сторонам, – отовсюду доносились истошные, заполошные крики и проклятия женщин. Уже потом Абу аль-Хайр спросил себя, куда бежал и почему безоговорочно доверился бегу этой странной толпы – а если бы

они ошиблись направлением и ломались вовсе не туда, куда надо?

Произволением Всевышнего их вынесло прямо к цели: потом стало понятно почему.

Бежавший впереди молодой человек в простой белой чалме и стеганом зимнем халате налетел на раскинувшего руки сумеречника. Как большая серая бабочка, тот закрывал рукавами арку:

– Нет!

– Прочь с дороги! – закричал молодой человек, и Абу аль-Хайр понял, что это халиф.

У аль-Мамуна было такое лицо, что ятрибец его не узнал. Да и мудрено было узнать: Абу аль-Хайру еще не приходилось видеть своего повелителя в таком бешенстве.

– Нет! – в отчаянии крикнул сумеречник. – Не пущу! Он убьет всех! Всех! Не подходите! Вы не видите... не видите его... ореола!..

Бледную острую мордочку искажал совершенно человеческий страх.

И тут они услышали. Женский яростный вскрик. Короткий лязг мечей. Вопль боли – не женский. Орал Тарик. Ори-ори, чудище. А потом – долгий согласный вопль на аураннском.

Загораживавший дорогу сумеречник ахнул и кинулся в арку.

Все бросились следом.

И ударились о стену из расплавленного стекла, которая стремительно неслась вместе с ними куда-то в черную темень.

В странной тишине, где все бесшумно двигались и раскрывали рты, Абу аль-Хайр, словно в вязком сне, переставлял ватные ноги и шел, шел вперед.

В прямоугольном просвете серого утра он увидел рассветный сад. Траву. Яркое розовое пятно на траве. Платье розового шелка, бледное лицо, черная волна волос. Цвета размыто подплывали, словно глаза слезились.

Над розовым пятном, пошатываясь, стоял кто-то высокий. А потом сложился и рухнул в траву – странным, плавным, замедленным движением.

На мужчин, бессмысленно столпившихся на террасе, из глубины сада нетвердой походкой шла женщина с длинным, залитым кровью мечом, вся опоясанная болтающимися рукавами. Из-за вороха свисающих с талии ярких платьев Абу аль-Хайр не сразу понял, что на бедре у женщины – длинный красный порез.

С жалобным писком к ней тут же метнулась целая стая парусящих рукавами простоволосых аураннок.

– Он жив? – Голос аль-Мамуна звучал очень отстраненно.

– Жив, – ответил ему кто-то за спиной.

Абу аль-Хайр обернулся на не очень приятный, дергающий изнутри голос. И невольно отшатнулся: о Всевышний, разве такое бывает – как будто кожу и волосы ашшарита на-

тянули на череп сумеречника. Джунайд, догадался он, борясь с отвращением. Загадочный шейх суфиев из ар-Русафа.

– И ты еще отговаривал меня... Все, все меня отговаривали... – с горечью пробормотал халиф.

– Это бесполезно, – спокойно прикрыл и открыл свои... перелицованные, нечеловеческие глаза Джунайд.

– Что бесполезно?

– Наказывать его.

– Хм, – недоверчиво отозвался аль-Мамун.

– Он все равно ничего не поймет. К тому же в данном случае сильнее всего он накажет себя сам.

– А что... произошло? – тихо спросил халиф.

– Видимо, Майеса бросилась между ними. Или к ним. А он... отмахнулся.

Абу аль-Хайр вспомнил жидкое стекло вместо воздуха и сглотнул. Бедная девушка...

– А почему... он...

– Потому что техника очень хорошая, – глуховато отозвался из-за спины голос Якзана аль-Лауни. – Как опытный мечник сдерживает удар, не давая ему уйти на излишнюю глубину, так опытный маг способен отмеривать Силу. Князь Полдореа, кстати, совершил один из самых благородных поступков, которым мне приходилось быть свидетелем. Он заметил девушку, когда было слишком поздно, – но попытался остановить удар.

– Сумеречники говорят в таких случаях – *хлебнул*, –

бесстрастно пояснил Джунайд. – Прерывать выброс Силы очень, очень опасно.

– Он выживет, – пожал плечами Якзан аль-Лауни.

– А девушка? – неожиданно для себя спросил Абу аль-Хайр.

Ее как раз поднимали с травы. Голова с тяжелой волной черных волос свисала, как у сломанной куклы. Даже Тарик – у него вся морда залита была кровью из носа, а через грудь и правое плечо шла длинная резаная рана, хорошо его секанула ауранка напоследок – выглядел лучше. У него хотя бы текла кровь. А сумеречница казалась не просто безжизненной – выпотрошенной.

– Время покажет, – сдержанно ответил Джунайд.

Лаонца рядом, конечно, уже не оказалось.

* * *

Умм-Каср, две недели спустя

Усаживаясь на войлочную подушку, аль-Мамун огляделся: ему еще не приходилось бывать в покоях здешнего дворца, отведенных Якзану аль-Лауни. Стертые рыжеватые ступени сбегали в крошечный квадрат двора. В середине голубело холодное окошко прудика. В нем плавали сухие листья торчавшего над черепичными крышами тополя. Снова налетел ветер – погода стремительно портилась, с моря тянуло

серыми рваными тучами, обещавшими моросящий дождь. Басра...

– Приведи его, – нахмурившись и поправив чалму, наконец сказал халиф.

Нерегия он отправил под домашний арест в комнаты хранителя ширмы. Якзану служили сумеречники и мелкие джинны, которые выгодно отличались от людей тем, что их невозможно было подкупить или заставить обойти приказ. А приказ был: никого к нерегии не впускать и охранять, как зеницу ока.

Две недели заточения самийа протекли очень тихо – тем более что зажило на нем все, как на бродячей собаке.

Впрочем, тихо – не значит приятно. Мало кому понравилось бы сидеть взаперти и ждать, когда тебя поведут на казнь. Ни на что другое Тарику, конечно, надеяться не приходилось.

А вот у эмира верующих две недели прошли в сплошных хлопотах. Старый Иса ибн Махан сказал: «Прости меня, о мой халиф, но я слишком стар для должности вазира барида». И предложил поручить все дела этому храброму ятрибцу... или мединцу?.. одним словом, Абу аль-Хайру ибн Сакибу. «Если справится, я буду знать, что у меня есть преемник», – поглаживая бороду, кивал сам себе начальник тайной стражи аш-Шарийа.

Абу аль-Хайр – как и Якзан, впрочем, – сказал: не всякий, кто явится и будет требовать казни нерегия, виновен

и участвует в заговоре.

Начальник местного отделения барида, нужно сказать, от таких советов воздержался. Он пришел на прием к эмиру верующих в садовые покои. В комнате расстелен был розовато-коричневый лаонский ковер. На ковре лежали подушки розового шелка. Мирадор покоя выходил в розовый сад. А на шелковой розовой подушке сидела прекрасная девушка-невольница, закутанная в легчайший розовый шелк. Ибн Заки просто обмер, когда увидел такое великолепие. И аж застонал, выражая надежду, что халиф счастлив и доволен в такой роскоши.

Аль-Мамун, щедро махнув рукой, подарил ибн Заки ковер, подушки – и девушку в розовом шелке. Шаадийа писала из дома начальника барида, что проводит большую часть времени с его зеббом между ног, и это ей порядком надоело. Зато другую часть времени она проводила за занавеской в комнатах мужской половины – в ожидании ибн Заки и его зебба, понятное дело. Начальник барида разохотился настолько, что не отпускал девушку от себя, приказывая находиться в той же комнате, что и он, и даже запрещал надевать шальвары. Вот сейчас я поговорю с нужными людьми – а ты сиди, жди меня. Шаадийа ждала. И слушала. И запоминала.

Письма она передавала со своей невольницей, которую, понятное дело, никто и не подумал досматривать или обыскивать. Начиналось каждое примерно одинаково: «Еле хожу, о Абу Хамзан, прошлой ночью он хотел шесть раз». Затем

шли имена, имена, имена. И должности. И названия мест – многие в аль-Ахсе. И снова имена: эмира Басры. Вазира военного ведомства – ему карматы отстегивали в первую очередь. Купцов. Многих купцов, а как же, басрийцы извивались и обходили запрет на продажу невольников карматам. те очень, очень хорошо платили за контрабандный товар. Официально-то купцы, конечно, торговали только на вывоз: за это тоже хорошо платили сердобольные верующие, желающие выкупить родственников или просто единоверцев из карматского плена.

Аль-Мамун прикидывал, что если казнить всех виновных, за день они не управятся. Помост уже сколачивали – высокий такой. Ничего не объявляли, но людям и так было ясно – для нерегия. О его предательстве и страшных деяниях в Медине рассказывали истории одна другой ужаснее. А уж про ночное его нападение на дворец говорили такое... Оооо, от этих рассказов люди бледнели и заказывали еще чаю. Абу аль-Хайр выходил в ползающих по Басре слухах героем: рискуя жизнью, скрутил страшную тварь и лично отволол в темницу.

На завтрашний день назначен был в Умм-Касре большой прием. Ко двору предписано было явиться всем чиновникам и именитым купцам без изъятия. Даже из столицы аль-Мамун приказал явиться важнейшим должностным лицам. Принцу Ибрахиму аль-Махди в том числе. Ну а что ж, не каждый день казнят главнокомандующего, в конце-то кон-

цов.

Матушка засыпала аль-Мамуна умоляющими письмами пощадить Тарика, почему-то ссылаясь на волю Всевышнего и его ангелов: мол, как же ты, сынок, хочешь им вернуть подарок с головой не на шее, не боишься ли ты божественного гнева и прочего.

Аль-Мамун только хмыкал, читая корреспонденцию: в то, что Тарика подарили аш-Шарийа ангелы, он не верил. Его наставник, аль-Асмаи, был ярым мутазилитом, и в богословских диспутах защищал идею естественной причинности, а не предопределенности. Одним словом, аль-Мамун полагал, что Яхье ибн Саиду просто повезло в его рискованном путешествии. В путешествие же его отправили отчаяние и туманный намек из непонятного видения наставника: молящимся в пустыне часто являлись образы и слышались голоса, но аль-Асмаи учил доверять только свету разума, в котором отделялось доброе от злого.

Так что угрозы матушки не возымели на Абдаллаха никакого действия. Не получив ответа и отчаявшись, госпожа Мараджил сослалась на нездоровье и ехать отказалась. А вот Ситт-Зубейда уже прибыла и живо обсуждала с невесткой, надевать ли на прием парадную безрукавку-борану, сплошь расшитую рубинами.

Супруга аль-Мамуна Буран рвала и метала все две недели без перерыва – прям с того дня, как ко двору представили Арву, и эмир верующих вошел к ней этим же вечером. И с

тех пор не отпускал от себя, даря вниманием и призывая в спальню. Мединке уже послали отравленную грушу и зарезали приставленного к ней евнуха. Арва плакалась в слезных песнях.

Понятное дело, все взоры в Басре прикованы были к происходившему в хариме Умм-Касра. «И что, прям подошла и сорвала с шеи ожерелье? Вах, прям взяла и сорвала, сказала – мое, сучка, не трогай? Вах, какие страсти, ты подумай...» Да, Буран показала себя, это точно. И по щекам певичку била, и золото с шеи дергала, и одежду ношеную присылала, отбирая новую.

Так что о том, что эмир верующих подарил какому-то чиновнику рабыньку, никто и не вспоминал. Кому нужна никому не известная певичка, когда тут такое! Близящаяся казнь нерегия! В хариме халифа что ни день – ссора и крики!..

– ...Исполнено, – тихо сказал голос Якзана аль-Лауни.

– Оставь нас, – тихо приказал в ответ аль-Мамун.

– Разрешаю поднять голову и смотреть на меня, – это он сказал уже нерегию.

Тот посмотрел – довольно дерзко.

– Красавец, – аль-Мамун покачал головой. – Но согласись: ты это заслужил. Как ни вступались за тебя, как из передряг ни вытягивали – ты все растоптал, как взбесившийся ишак. Так что не обессудь. Не каждый год кувшин возвращается от воды целым.

Тарик только дернул плечом и прижал уши.

– Что дядюшка в письме про тебя наврал, мне известно. Но ты заслужил смерть по двум причинам. Первая – своей дракой с Джунайдовой женой ты в который раз опозорил мою прабабку. Молчать!..

Сидевшее перед ним существо сейчас очень походило на рассерженную кошку: глазищи прищурены, и к тому же шипит. Пошипипо-пошипипи, Тарик, я тебе не братец, я тебя не боюсь.

– После вашей драки вся Басра болтала исключительно об одном: как Айша Умм Фахр прелюбодействовала с сумеречником, а святой шейх наставил ее на путь истинный. Мать моего деда не заслужила такой посмертной славы. Молчать!..

Пошипипо-пошипипи. Это он, аль-Мамун, должен шипеть, ибо дело воистину приняло непотребный размах и получило огласку. Дошло до того, что в Умм-Касре одна из только что купленных невольниц исполнила – во всеуслышанье! – стихи о любви Айши и Тарика. Девушку пришлось тут же умертвить, и это послужило хорошим уроком всем желающим распускать языки.

– Но это еще не все. Твой шипящий язык, – бестрепетно продолжил аль-Мамун, – следовало бы отсечь – вместе с головой – еще и по другой причине. Мы нашли старуху, которая в ту ночь подошла к вам с Арвой во дворе приемов. Она была карматской шпионкой. Враги действовали прямо и четко: поднесли к тебе горящую головню – и ты взорвался, как горшок с зубьянским огнем. Ты глупец, Тарик. А глупец

с такой силой, как у тебя, более опасен, чем полезен. Мне не нужен главнокомандующий, которым карматы вертят, как хотят.

Ага-ааа, засопел, пальцами подол рубашки-то замял. Стыдно тебе, стыдно, злобному дураку. Как ребенка тебя провели – в который раз, и ничему-то ты не научился...

Аль-Мамун помолчал, давая нерегилю время хорошенько вымокнуть в помоях позора. Нда, со старухой этой одно осталось непонятным: как карматы прознали, что Абу аль-Хайр привел с собой именно Тарика. Старую пройдоху подвешивали на дыбе, зажимали руки и ноги в колоду, но так ничего и не добились. Ведьма испустила дух под пыткой. А на женской половине наверняка остались еще шпионы. Не одна же сводня там управлялась... Ну да ладно, будет время – и с этим разберемся.

Халиф сказал:

– То, что ты написал про статую, я прочел. Ну что ж, это только облегчает нашу задачу.

Нерегиль коротко кивнул.

Они помолчали.

Плетеный дарабджирский ковер, отгораживавший комнату от двора, легонько отдувало ветром – тяжелая, просвечивающая сотнями дырочек ткань не пускала кружащийся воздух к халифу.

– Большой прием назначен на завтра.

Снова кивнул.

– У меня к тебе вопрос. В книге Яхьи ибн Саида я прочитал, что вы, нерегили, прямо помешаны на чести, благородстве и долге. Что-то я в тебе всех этих добродетелей не заметил. В особенности чувства долга. У тебя их никогда не было, или все внезапно делось куда?

Нерегиль аж прищурился от злости:

– Долг и честь – это для государя. Мой государь остался на западе. А ты – мой владелец. Это совсем другое дело. У находящейся в чьей-то собственности вещи чувства долга, чести и благородства нет и быть не может.

– Я понял, – покивал головой аль-Мамун. – Это последовательно. Если бы я считал себя вещью, я бы и на жизнь смотрел, как вещь. Но мне тут рассказали, что ты, оказывается, очень мучился совестью. Я ведь правильно понял, что именно совесть приказала тебе сбежать от убийцы брата, невестки и малолетнего племянника?..

С огромным удовлетворением Абдаллах пронаблюдал, как бледные пальцы стискивают край рубашки. Бледно-серые глазищи смигнули. Но на скулах только желваки проступили. Молчишь?..

– А вот это мне кажется непоследовательным. Ты либо про долг должен вспомнить, либо совестью не мучиться. Так мне кажется. Не хочешь определиться?

– А надо?

– Очень может пригодиться, – мягко заметил аль-Мамун. При дворе и в городе делали ставки: как казнят нерегиля.

Быстро или медленно. Снесут ли голову, или предварительно отрубят руку, поднявшуюся на верующих. Или вовсе распнут, а потом четвертуют – как от века поступали с государственными преступниками и предателями.

– Я не буду, – процедил нерегиль.

– Как знаешь, – усмехнулся халиф в ответ.

Они снова помолчали. В тополе над крышей шумел ветер.

– Можешь попросить меня о чем-нибудь, – сухо сказал аль-Мамун.

Тут нерегиль сник, и стало видно: узник не спит, причем давно. Покусав губу, Тарик опустил голову еще ниже и разродился просьбой:

– Прошу разрешения отослать госпоже Майесе письмо с извинениями.

Аль-Мамун медленно поднялся со своей подушки. Посмотрел на коленопреклоненного, ждущего, стрункой хребта дрожащего нерегиля. С наслаждением произнес:

– Отказано.

И вышел из комнаты.

* * *

Умм-Каср, вечер следующего дня

Иван, зал приемов Умм-Касра, не блистал роскошью. Простой сводчатый потолок, старая штукатурка по стенам.

Роспись изображала стоявших спиной к спине танцовщиц: кокетливо поднимая ярко-зеленые юбки ярко-красной туфелькой, они наклоняли через вздернутое плечико золотые кувшины с вином. Волнистые локоны обвивали изящные головки, улыбались полные карминовые рты. У девушки с кувшином, что плескала рубиновой влагой прямо напротив Абу аль-Хайра, не хватало края косы с затейливой изумрудной заколкой – кусок штукатурки отвалился вместе с краской.

Роспись шла высоко над головами выстроившихся вдоль стен людей – хаджиб с помощниками как раз заканчивали разгораживать зал длинными веревками, выравнивая строй присутствующих.

По спине текло: то ли от волнения, то ли от сырой дождевой мглы, что пропитала сумерки, одежду и волосы. По самшитовой изгороди сада бил дождь, листики мелко дрожали под барабанной дробью капель. Волглый туман скрадывал ряд кипарисов и одиноко торчащий над крышами тополь. С моря дуло и несло мохнатые серо-черные тучи. Басра зимой, что вы хотите...

Кстати, несмотря на погоду, в какую только дома сидеть и греться у огня, ему доносили, что в Басре все толпятся на площади с помостом, а на окружающих улочках и вовсе не протолкнуться. Все балконы и окна раскуплены за большую цену еще неделю назад. От Умм-Касра до города всего-то пути по каналу аль-Файюм – так состоятельные люди загодя расставили скороходов, чтоб те немедля оповестили, как

отойдет от причала дворца лодка с приговоренным. Не мокнуть же столько времени на улице в ожидании зрелища, в самом-то деле...

Напротив, под облупившейся росписью, стоял и мялся на коротких ножках эмир Басры. Должность он купил еще у главного вазира покойного аль-Амина, а сам был, понятное дело, из местных купцов. Как человеку невоенному, ему непривычны были положенная на приемах черная фараджийя жесткого сукна, черная же рубашка и черная хлопковая туника. И широкая ременная перевязь с длинным тяжелым мечом – меч на эмире Басры воистину смотрелся, как на ишаке боевое седло.

На свободном пяточке перед тронным тахтом сворачивали ковер четверо слуг-фаррашей. На ковре целовали землю и приветствовали эмира верующих – кое-кто и с почетной подушкой под задницей – сановники и знать. Ковер сворачивали, ибо халиф приказал стражникам привести нерегиля. Мда, Тарику за его художества ковра не полагалось. Точнее, полагалось, но не такого вида. Для нерегиля нужно стелить кожаный, на котором голову рубят.

Стража-хурс, что ввела в зал Тарика, оказалась сплошь из сумеречников – по-кошачьи легко вступая в зал, они даже не звенели доспехом.

По обычаю, который всегда казался Абу аль-Хайру издевательским, мятежного командующего заставили облачиться в придворный кафтан. Поэтому Тарик шел, как всегда

вздернув голову и ни на кого не глядя, в черной одежде – и оттого еще больше походил на пойманную галку. Запястья ему связали, конец веревки держал шедший впереди гулям стражи.

Подведя нерегия к голому месту перед халифским тронном, воины надавили ему на плечи, заставляя встать на колени.

Кланяйся, про себя прошипел Абу аль-Хайр. Кланяйся, упрямая, злобная скотина, ты ж угробишь все, что еще не успел угробить, с тебя станется...

Присутствующие ахали и возмущенно переглядывались. Тарик и не думал склонять головы и отдавать церемониальный поклон. Хаджиб растерянно вертел головой и явно не знал, что делать. Наконец его прорвало: вытирая потный лоб краем чалмы, бедняга рявкнул:

– Приветствуй своего господина, как подобает, о нерегияль!

А Тарик развернулся к нему и громко ответил:

– А я не знаю, как мне подобает приветствовать моего господина, о Абу Муса! Если я все еще главнокомандующий, то почему меня схватили без суда, даже не объявив вину? А если нет – то почему мне велено надеть черный придворный цвет?

– Разрешаю целовать землю перед тронном, – невозмутимо отозвался аль-Мамун со своего тронного тахта.

Черная спина Тарика переломилась в поклоне – ну нако-

нец-то.

– Разрешаю подняться, – так же спокойно приказал халиф.

Тарик тут же выпрямился, как надгробный столбик.

– Тебя обвиняют в побеге, избиении верующих и нападении на харим своего господина.

Все ждали, затаив дыхание.

– Ты сбежал и скрывался от меня, о Тарик?

– Да, – кратко ответил нерегиль.

А что ему было еще отвечать?

– Ты убивал ашшаритов?

– Да.

– Напал ли ты на мой дом и моих домашних?

– Да.

Под вздохи и возмущенные перешептывания собравшихся аль-Мамун развел руки:

– По обычаям и законам аш-Шарийа за такие преступления предают смерти.

Снова потянулось молчание – Тарик ничего не ответил.

– До меня также дошли подробные известия о том, что ты делал в Медине, Тарик. Еще до меня дошли известия о том, по какой причине ты уклонялся от службы в течение столь долгого времени.

Опять длинная пауза. Как же тихо, хоть бы кашлянул кто. Или сморкнулся – холодное же время, самое время для соплей...

Халиф провел ладонью по короткой черной бородке:

– Однако я был бы последним глупцом, если бы казнил тебя, о Тарик. Ты храбро сражался с недругами и наказывал врагов веры. Что же до твоего побега, то ты повел себя не как раб, а как благороднейший из мужей, дорожащий своей честью. Об иных событиях я умолчу, ибо благородные люди это не обсуждают. Но я точно знаю: лучшего главнокомандующего у меня нет и не будет, клянусь Всевышним. Поднимись, ты свободен.

Зал потрясенно ахнул.

Стражник-сумеречник одним скрежещущим длинным движением вытянул из ножен меч и упер его острием в плиты пола перед Тариком. Тот медленно-медленно поднял связанные запястья. Сбоку, словно черный оборотень из сказки, вырос Якзан аль-Лауни, схватил за плотно намотанные веревки и полоснул ими сверху вниз по клинку. Путы распались, сумеречник убрал меч, и Тарик упал на освобожденные руки.

А халиф вдруг вынул из-под подушки железный жезл и зычным голосом крикнул:

– Слышишь ли ты меня, о Абу Хамзан!

И Абу аль-Хайр, набрав в легкие воздух, откликнулся, делая шаг из ряда:

– Да, мой господин!

– Исполни свой долг, о Абу Хамзан!

И Абу аль-Хайр рявкнул так, что под сводами запрыгало

эхо:

– Взять заговорщиков!!!...

* * *

В зале стоял невыносимый ор, в котором тонул даже лязг оружия: кое-кто из эмиров войска попытался взяться за меч. *Хурс* выдвинулся от стен слаженно, тесня всех к середине зала. Не глядя на чины и возраст, людей либо хватали за ворота халатов и отшвыривали прочь, либо связывали и волокли к безоконной западной стене и там бросали на мгновенно пропитавшихся всякой неприятной влагой коврах.

– Вставай, Тарег! – Иорвет тряс нерегиля за плечо. – Поднимайся, мы здесь мешаем!

Они действительно мешали: двое гулямов тащили за локти отчаянно верещащего и выкрикивающего то угрозы, то мольбы о пощаде купца. Тот скребся по полу ступнями в мгновенно ставших дырявыми чулках.

– Помогите! Я ни в чем не виноват, клянусь Всевышним! – орал он. – Я ни в чем не виноват, меня заставили!

– Тарег? Поднимайся!

Нерегиль сдавленно проговорил:

– Н-не могу...

Иорвет подставил локоть:

– Обопрись и поднимайся. Аль-Мамун смотрит.

Халиф действительно смотрел на них. И с довольной

улыбкой пощипывал коротко стриженную черную бородку.

– Это... нечестно... – пробормотал Тарег, обеими руками вцепляясь в подставленное предплечье, жесткое от наруча под черной шерстью фараджийи. – Он сказал, что меня казнят...

– Ничего подобного, – строго сказал Иорвет, помогая ему встать. – Я слышал ваш разговор от первого и до последнего слова. Там ни слова не было о том, что тебя казнят. Только о том, что ты заслужил смерть.

– Ну и?!..

Молодой человек на тронном тахте, единственный недвижимый и спокойный среди отчаянной круговерти разделяемой на ангцев и козлиц толпы, насмешливо улыбнулся.

– А он тебя великодушно простил. Но и заставил две недели ждать смерти, терзаясь неизвестностью.

Нерегиль наконец-то вскрабкался на ноги и серьезно посмотрел в совиные глаза лаонца:

– Я не боюсь смерти и ничем не терзался, Иорвет.

Лаонец покачал рыжей головой:

– Ты путаешь две разные вещи, князь. Свою злость на судьбу и желание умереть. На судьбу ты зол, Тарег. Но умирать ты не хочешь.

Тарег дернул плечом:

– Это уже неважно. Все, что я должен сделать, я сделаю. Потому что больше это сделать некому.

– Я знаю, – вздохнул Иорвет.

И быстро обернулся к халифу. Тот нахмурился и поманил Тарега к себе.

Оказалось, что вокруг поутихло. Всех, кого надо, уже сволокли к западной стене и принялись по одному вытаскивать в сад. От длинного ряда кипарисов доносился хрипловатый гомон зинджей: они копали ров, и он заполнялся водой быстрее, чем ее успевали вычерпывать.

– Хватит уже! Глубоко здесь, глубоко! – заорал кто-то со ступенек *ивана*.

– Пощады! Взываю к милости эмира верующих! – донеслось от стены, где кто-то забрыкался в руках воинов *хурса*.

Молодой человек на тронном тахте лишь досадливо поморщился. И коротко мотнул головой: нет, мол, что еще за глупости. Воины-сумеречники, державшие дрыгающегося человека в съехавшем с плечей халате, с равнодушными лицами подняли и потащили приговоренного прочь. Тот рвался изо всех сил, но сумеречники шагали плавно, не сбиваясь с шага, словно и не чувствовали трепыхающуюся между рук тяжесть.

Молодой человек еще раз поморщился и перевел глаза на вставшего у ступеней тронного возвышения нерегиля.

– Что-то ты от меня скрываешь, – поставив локоть на колено и все так же пощипывая бородку, сказал аль-Мамун.

Их глаза оказались почти вровень – тахт низкий, а ступенек к нему много.

– Ты тоже две недели ничего мне не говорил, – угрюмо

отозвался Тарег.

И одобрительно фыркнул:

– И даже не *думал*, надо же...

– Мой наставник аль-Асмаи был не только знатоком аш-шари, но и суфием. Он учил меня сосредоточению, – сухо отозвался халиф. – Так чего ты мне не сказал?

– Это касается меня одного, – прижал уши нерегиль.

– Задумаешь опять сбежать – смотри мне... – аль-Мамун погрозился своей железной палкой так, что стало понятно – не шутит.

– Я уже понял – мука, вода, лепешки, – дернул плечом Тарег.

– Чего? – удивился человек.

– Я хотел сказать, водяное колесо, – хмуро поправился нерегиль.

– Даже не думай, говнюк, – процедил аль-Мамун. – С того света достану, клянусь девяносто девятью именами Высочайшего.

При упоминании Имени Тарик вдруг просиял:

– О мой господин! В письме ты клялся Всевышним, что заставишь меня почувствовать свой гнев! И что ж, ты не сдержишь обещания? Может, мне все-таки поработать недельку? На водяном-то колесе, а?

Халиф отрезал:

– Всевышний за великодушие не наказывает: милосердие, оно превыше любой клятвы, чтоб ты знал.

– Да-да-да, – прошипел Тарик, щурясь и снова прижимая уши. – Мир полон этому свидетельств, я знаю.

В саду оборвался очередной жалобный вскрик. За ним последовал тяжелый всплеск упавшего в воду тела. «Закапывайте эту яму!» – заорали из-за деревьев.

Аль-Мамун тяжело вздохнул. И спросил:

– Так ты определился?

– Все еще нужно?

– Мне – нужно. Я хочу знать, с кем я разговариваю. С вещью я буду разговаривать по-другому.

Нерегиль закусил иссиня-бледную губу и скривился, как на лимон.

Из-за шелестящей пелены дождя, заволакивавшей сад вместе с сумерками, донесся новый вопль. Кто-то кого-то умолял о пощаде и клятвенно уверял в своей невиновности.

– Кстати, – встрепенулся халиф. – Чего ты набросился на ту сумеречницу? Джунайд сидел у всех на виду, чего б тебе было с ним не подраться? Зачем ты полез в мой харим, о бедствие из бедствий?

В ответ Тарег искренне удивился:

– Зачем мне Джунайд? Он же смертный дурак – с него спросу нет...

– Тьфу на вашу птичью солому внутри головы, – ошарашенно пробормотал аль-Мамун. – Смотришь, смотришь на вас – вроде как мы, на двух ногах ходите. А как спросишь о чем – тьфу...

Лицо Тарика вдруг сделалось очень, очень спокойным. Он сказал:

– Ты тоже можешь спросить меня. О чем-нибудь важном.

Аль-Мамун долго молчал, изучая бледное до синеватых прожилок, нечеловеческое лицо.

И спросил:

– Ну а если не пушу к ней? Что тогда?

– Тогда будешь доставать меня с того света, – очень спокойно ответил нерегиль. – И плевать мне на все твои водяные колеса.

И еще сказал:

– Для меня это дело чести.

Подумал и прибавил:

– ...И долга.

Подумал еще и прибавил:

– ...Абдаллах.

Халиф долго молчал. Потом медленно кивнул. И сказал:

– Завтра доложишь, как нам прорваться через хребет аль-Маджар. А сейчас – иди, куда хочешь...

Подумал, и добавил:

– ...Тарег.

Нерегиль опустился на одно колено и склонил голову:

– Благодарю тебя, мой повелитель.

Айко, согнувшись, чтобы придержать у колен расходящиеся края платьев, вбежала в комнату:

– Сюда... ах... сюда идет Тарег-сама!

Майеса вскрикнула и подскочила на одеяле. На застеленном циновками голом полу одиноко темнела чашка с недоеденным супом, из нее торчала ложка.

– Оооо, какой беспорядок! – застонала аураннка.

Ахая и охая, Саюри заметалась по покою:

– Платье подать?..

– Зеркало! – умоляюще вскрикнула Майеса, в ужасе ощущая белую повязку, стягивавшую надо лбом волосы.

Как и полагалось занемогшей, кроме повязки с крошечным бантиком, ей причиталась только самая простая лента, стягивавшая волосы под затылком. Ну и белые хитама, от которых лицо зеленее, чем у покойницы.

– Идет! – взвизгнула Саюри, падая на колени вместе с ларцом, из которого она так и не успела извлечь зеркало.

– Чашка! – придушенно вскрикнула Майеса, закрывая рукавами лицо.

Бестолково протоптав туда и сюда, чашку зелено-фиолетовым вихрем смела Айко.

За ширмами слышался громкий шелест и шорох: там рассаживались госпожа и придворные дамы. Приличия есть

приличия: служанка в благородном доме не может оставаться наедине с чужим мужчиной.

– Князь Тарег Полдореа покорнейше испрашивает разрешения увидеть госпожу Майесу, – коснувшись лбом циновки, громко произнес Эда от порога.

– Дозволяю, – мягко прозвучал из-за ширм голос Тамийа-химэ.

Майеса не знала, какими посланиями обменялись госпожа и князь, – свиток с веткой акации на рукаве носила Саюри, да и что она могла там разглядеть. Но похоже было на то, что поединок откладывался. После событий в приемном зале и думать нечего было о том, чтобы продолжить его в ближайшее время: господин Тарега-сама запретил тому поднимать меч на Тамийа-химэ под страхом смерти. Так бой оставался незаконченным, а дело чести – незавершенным. Майеса разрывалась между сочувствием к князю и жалостью к госпоже, и при одной мысли об этом у нее тут же потекли слезы.

Сквозь набухающую под ресницами влагу роскошный ореол нерегиля виделся туманным и блеклым, но сапфировый отблеск печали она ни с чем бы не перепутала.

– Мне нет прощения, госпожа, – вздохнул князь. – Что я могу сделать для того, чтобы искупить свою вину и недостойный поступок?

Дыхание почти потерялось где-то в глубине груди:

– Я... я прошу прощения за то, что причинила столько

беспокойства, Тарег-сама. Мне не следовало вмешиваться в дело, к которому я не имела отношения...

Майеса держала ладони крепко прижатыми к тростниковому плетению циновки и втайне благословляла аураннский обычай кланяться и говорить с опущенной головой: князь не видел, как у нее дрожали руки.

– Как вы себя чувствуете?

Ничего не значащая, пустая вежливость. Хорошие манеры.

– Благодарю... Мне уже лучше...

И, цепenea от собственной дерзости, Майеса сказала:

– В вашем присутствии я чувствую себя совсем хорошо,

Тарег-сама...

Айко за ее спиной резко втянула воздух. Глубокое переливчатое сияние сапфира стремительно темнело – что я наделала, что я наделала, какой неприличный намек, как я могла так забытья...

– Я готов выполнить любую вашу просьбу, госпожа.

– Любую... просьбу?..

– Я в неоплатном долгу перед вами. Приказывайте, я все исполню.

Синева вокруг него стала совсем черной, как ночное море. Слезы капали, капали Майесе на пальцы.

– Тарег-сама... Я... прошу вас... сделайте так, чтобы сердце этой недостойной служанки более не страдало...

И, решившись, вскрикнула:

– Откажитесь от мести Тамийа-химэ! Это мое самое искреннее желание, Тарег-сама!

И в умоляющем поклоне упала лбом на ладони.

– Вы просите о том, что мне и так приказано сделать, госпожа. Зачем?

Князь мог видеть только ее волосы и вздрагивающую белую спину. А лица – не мог. Не мог видеть...

Майеса, обмирая, прошептала:

– Так сердце этой недостойной не будет более разрываться между долгом перед госпожой и... чувством... к вам, Тарег-сама...

Поскольку последние слова она пролепетала с закрытыми глазами, дальнейшее случилось уже в полной черноте безо всякого намека на синеву и сапфировый отсвет.

– Что-о? Что-о?! Какая дерзость!

Дама Тамаки.

– Неслыханная дерзость!

Дама Амоэ.

Резкий стук ширмы.

– Позвольте я лично накажу эту негодницу! Как ты посме-
ла, мерзавка! Что ты себе позволяешь?!

Дама Отаи.

– Мои извинения, Тарег-сама. Мне жаль, что вам пришлось слышать глупые речи негодной служанки. Она будет наказана строжайшим образом.

Все. Конец. Тамийа-химэ.

– Она ни в чем не провинилась передо мной, госпожа.

Майесе показалось, что время замерзло. Вместе с пальцами и слезами в ресницах.

– Я задал госпоже Майесе вопрос, она на него ответила. У меня нет причин чувствовать себя оскорбленным.

Вежливое покашливание, треск складываемых вееров.

– Я покорнейше прошу оставить нас с госпожой Майесой наедине.

Она не решилась поднять голову, пока не стих шелест шелков по половицам дальних комнат. И удушливо покраснела, увидев черный цвет его рукава рядом со своей ладонью. Тарег-сама теперь сидел совсем близко.

– Я понял, о чем вы хотели меня попросить, госпожа. Я обещал исполнить любую вашу просьбу и намерен сдержать данное слово. Но... – тут князь вздохнул, – ...я боюсь, что вы можете отказаться от своего желания, узнав о моих обстоятельствах. Я незавидный жених, госпожа.

– Тарег-сама, я знаю, что вы...

– Дело не в этом, моя госпожа.

Она осеклась и задрожала всем телом.

– Прошу вас выслушать меня. И только потом принять решение.

* * *

Сидевшая на энгаве Айко видела их обоих в течение всего

разговора.

Сначала, рассказывала она в ответ на жадное любопытство окружающих, Тарег-сама подошел и сел совсем рядом с Майесой-доно. И их рукава соприкоснулись.

А Майеса-доно подняла головку – и тут же нежно и стыдливо опустила глаза.

А Тарег-сама, глядя прямо перед собой, что-то сказал. Потом еще что-то. Он говорил совсем недолго, и каждое его слово, казалось, больно уязвляет Майесу-доно в самое сердце – и когда князь закончил свою речь, госпожа походила на увядший цветок в изящной фарфоровой вазе.

И она медленно поднесла рукав своей белой одежды к губам и что-то сказала, не решаясь поднять лица.

А Тарег-сама выслушал ее, кивнул – и молча поклонился. А потом поднялся и покинул комнату.

Ширма отодвинулась, и из-за нее выступила княгиня Тамийа-химэ, ослепительная в алом шелке шести слоев своего зимнего платья. Молча опустилась на колени перед Майесой-доно и поклонилась ей, как равной.

Так все во дворце узнали, что Майеса-доно поднялась в ранге и не является более служанкой. По имени дворца ей было присвоено имя Асаймонъин. Правда, многие потом оспаривали это мнение Айко, указывая, что это имя госпожа получила лишь после рождения ребенка князя. А до этого события госпожу называли Иору-химэ, в память о том, что они с князем обменялись брачными обетами глубокой но-

чью.

Так вот, потом произошло самое странное и любопытное. Айко увидела, что Майеса-доно залилась слезами и снова упала на свое прекрасное лицо.

А княгиня медленно поднялась, сделала несколько неверных шагов по комнате – а потом овладела собой и выпрямилась.

Когда госпожа вышла на энгаву, а потом в сад, Айко пошла к ней, поклонилась и спросила, не нужно ли подать госпоже платок – ведь у Тамийа-химэ все лицо было мокрое.

И княгиня ответила:

– Нет, глупенькая, не надо. Разве я плачу? Это капли дождя стекают у меня по щекам.

* * *

Тот же день, сразу после захода солнца

Дикие крики и страшный галдеж неслись со двора, где сидели *хурс-аль-самийа*, сумеречники из дворцовой стражи. Сейчас их служило во дворце чуть ли не три десятка голов – и около дюжины сопровождало эмира верующих в Басру.

Проклиная невозможно длинный день, Абу аль-Хайр бросился на вопли. По обычаю, свободным от несения стражи воинам *хурс* запрещалось покидать отведенное им место дворца – не говоря уж о том, чтобы орать в голос. Этот от-

ряд так и прозвали: *хурс*, немые, потому что их дело было не говорить, а исполнять приказы. Однако запертые во дворе сумеречники бесновались от скученности и невозможности вырваться за пределы его давящих стен.

Нынешняя стража состояла сплошь из ауранцев – недавно на границе случилась кровавая стычка, в которой взяли много пленных – и двоих недавно купленных лаонцев. Оно и к лучшему, что только двоих, лаонцы чаще дрались и ссорились между собой, хорошо еще, эта парочка была из одного клана. Впрочем, у них уже не было клана – вырезали.

Только общей драки нам сегодня вечером не хватало, думал про себя Абу аль-Хайр. От запаха крови они, что ли, перебесились: более двух сотен голов сегодня слетело в длинные рвы, и большую их часть отрубили равнодушные холодноглазые гулямы-самийа. В размокшем саду под ногами хлюпало – не только водой истекала разрыхленная под черными, мрачными кипарисами земля. Кстати, начальника дворцовой охраны, здоровенного черного евнуха они тоже спустили в ров. А нового пока не назначили. Поэтому с орущими сумеречниками приходилось разбираться ему, опять ему – вездесущему Абу аль-Хайру ибн Сакибу. Ну да, топоча облепленными мокрой глиной сапогами, бормотал про себя он: ибн Сакиб там, ибн Сакиб здесь...

Перед задвинутыми двумя брусьями воротами маялись дежурные гвардейцы.

– Чего орут-то? – пропыхтел Абу аль-Хайр, подбегая.

– А шайтан их знает, зверюг ушастых, да проклянет их Всевышний, – пробурчал тюркского вида амбал, потирая потный нос под наносником шлема. – Как солнце село, так и заверещали.

– А может, господина хранителя ширмы позвать? – впал, как в ересь, в осторожное предположение Назук. – Он поихнему разумеет...

Для зинджа всякое должностное лицо становилось существом высшего порядка, к собственному племени непричастным: что сахиб ас-ситр есть самый что ни на есть сумеречник, Назуку в голову не приходило.

Изнутри в дверь заколотили – пока кулаками, но гвардейцы заметно попятились.

– Не надо звать господина Якзана, – резко отозвался Абу аль-Хайр.

В серо-желтые глаза полетучей смерти сегодня он мог и не смотреть. Фаррашей, наблюдавших за казнью и стаскивавших в кучу загаженные ковры, много и разнообразно тошнило. Пара шлепнулась в обморок – ханаттани, естественно, эти завсегда готовы изобразить страдание. Ну чисто танцовщицы, а еще говорят, что раньше из них вся Правая гвардия состояла... Абу аль-Хайр сегодня насмотрелся на смерть, так что обойдется он и без ночной совы, странницы из мира мертвых...

– Открывайте! – скомандовал.

Брусья с деревянным грохотом поехали в сторону.

Вопли с той стороны попригнали.

В Сумеречном дворе Абу аль-Хайру еще не приходилось бывать, и потому ятрибец замешкался.

Они стояли – повсюду. На желтых плитах привратного зальчика – в мятущемся свете факелов. На ступеньках – четко вырисовываясь белыми фигурами в ночной темноте двора. У крохотного фонтанчика – высокими лиловыми тенями.

Абу аль-Хайр почувствовал себя словно перед стаей ждущих котов: все морды, все удлинённые светящиеся глаза обращены к тебе. И только слабо двигаются под розовым пятнышком носа усы и распущенные, настороженные вибриссы.

– В чем причина беспорядка? Как вы смеете нарушать покой дома халифа непристойными криками?

В ответ каждый из стоявших во дворе и на ступенях сумеречников медленно поднял руку в длинном прозрачном рукаве. И показал ею вверх.

Повинуясь жесту бледных тонких рук, Абу аль-Хайр поднял лицо к ночному небу.

Сначала он ничего не понял.

Потом всмотрелся. Потом сморгнул. Потом зажмурил глаза, подержал их крепко закрытыми и резко распахнул.

Она – была.

Доселе невиданная, здоровенная, исходящая жидким желтоватым светом, плещущаяся выступами бледного лимба звезда.

– Что это? – ошалело пробормотал он в трясины уползаю-

щего в обморочную черноту Соломенного пути.

Чернота молчала. Оттуда тянуло стылým холодом вечности. В горячих, словно топлёное молоко, переливах свечения новой звезды явственно обозначалась сфера – и два острых рога.

Глаза заслезились, Абу аль-Хайр смигнул и снова посмотрел в ворота Сумеречного двора.

В обращенных на него десятках кошачьих глаз плескалось звездное молоко. Бледные лица, прозрачные веки, улетающие с ночным ветерком легкие одежды. Морской бриз трепал тонкие волосы, словно расходилась в воде тысячу струек кровь из прокушенной губы...

– Она не настоящая, – своды привратного зальчика искажали сумеречный голос, он звучал гулко и низко, как медный гонг. – Не настоящая звезда. И она идет с запада. На западе нет ничего, кроме смерти.

– Что это? – с тихим ужасом повторил открывавший ворота тюрок.

Его круглое довольное лицо на глазах оплывало смертельной бледностью.

– То, о чем я пытался тебе сказать, о ибн Сакиб.

От этого голоса Абу аль-Хайр крутанулся на каблуках.

Тарик стоял в нескольких шагах от него – высокий, черный, синюшно-бледный. Черное зеркало, антипод бледных теней во дворе напротив. В пустых серых глазах переливалось нездешнее сияние.

– Конец света, – снова пошевелились бледные губы. – Смерть и погибель.

Жуткий, сочащийся светящимся маревом диск плыл в притихших небесах.

– Что? – леденя внутри, переспросил Абу аль-Хайр.

– Над облаками плывет камень из короны Владыки севера. Он торжествует победу, – тихо сказал Тарик. – Празднует власть – над небом и землей.

– К-какой владыка севера? – под ложечкой нехорошо за-сосало.

– Ты скоро узнаешь, – морозно улыбнулся нерегиль. – Это тот, кто уничтожил весь мой народ. Теперь он придет и за вами. И эта адская лампа на небосводе – его путеводный знак.

Шелестя шепотками, сумеречники медленно опускались на колени, складывая руки в странные знаки. Молятся, с тихим страхом осознал Абу аль-Хайр.

Тарик стоял, как и раньше, неподвижно, с пустыми глазами на обескровленном лице. Впрочем, сейчас его глаза не были пустыми. В них, устремленных на погибельное светило, горела странная жажда – словно там отражался не розоватый свет мертвой звезды, а давнее отчаяние того, кому нечего и некого стало бояться.



2

Отец войска



Басра, дом в квартале аль-Файюм

Человек, сидевший спиной к окну, то и дело сглатывал, дергая кадыком. И обильно потел: крупные капли скатывались со лба на ресницы, и тогда человек испуганно моргал. За его спиной в решетчатом выступе охлаждался здоровенный кувшин с водой, по глиняным стенкам посуды тоже стекали капли.

Испарина проступала и на лбу, и на спине человека – халат на спине быстро пошел темными пятнами. Очередная капля скатилась в глаз, и сидевший испуганно вздрогнул и беспомощно заморгал. Поднять руку и утереться он не решился.

Человек держал ладони на коленях. На виду. И старался сохранять совершенную неподвижность.

Перед ним, расслабленно облокотившись на резной столик, сидела женщина. И рассеянно накручивала на палец длинный локон. На висках звякали тяжелые, собранные в гроздь шарики серебряных подвесок. На инкрустированной перламутром столешнице тускло поблескивали чашка и медный чайник. Чай давно остыл: женщине не было до него дела.

На одутловатом, немолодом лице проступила нетерпеливая злость. Женщина недовольно поджала губы, и сидевший перед ней человек широко раскрыл глаза и задрожал.

Звякнули серебром подвески, гостя резко отпустила локон, зашуршало богатое, красное с золотой оторочкой платье.

– Зейнаб умерла, не проронив ни слова! – вдруг выпалил человек.

И резко утер текущий лоб.

Женщина в роскошной одежде еле заметно покривила губы:

– Я знаю, глупец. Я знаю. Если бы старуха заговорила, мы бы с тобой не встретились. Тайная стража обшаривает женскую половину дворца в поисках ее сообщников...

Человек снова сглотнул, дернув адамовым яблоком.

Он знал, отчего умерла старая Зейнаб. Старуху пытали, это верно: и руки в колоду зажимали, и на дыбу подвешива-

ли. Но сидевший спиной к окну и потеющему кувшину Ваиль-аптекарь доподлинно знал: Зейнаб умерла не от боли в переломанных пальцах. Старуха умерла от того, что в ее питье подмешали настой белладонны – очень насыщенный. И Зейнаб умерла, задыхаясь и с колотящимся сердцем. Наутро стражники нашли остывший труп карматской шпионки, которая, может, и хотела бы рассказать, кому и от кого передавала сведения, – да не успела. Успела, правда, крикнуть на последнем допросе: «Я скажу все, что знаю! Я передавала записки во время пятничной молитвы, на выходе из масджид в квартале аль-Файюм!» И потеряла сознание. Очнулась старуха в подвале, а там ее уже ждал кувшин воды с подмешанным настоем. Зейнаб хотела пить, утолила жажду – и у нее очень сильно забилось сердце. Старуха стала задыхаться, хотела позвать на помощь, но горло перехватило, и дыхание ее остановилось. Навсегда. Так умерла Зейнаб.

Умерла, не успев рассказать людям барида, как выглядел человек, принимавший ее записки. И к счастью: ибо этим человеком был не кто иной, как Ваиль-аптекарь.

А кроме того, люди из тайной стражи так и не узнали, кто приказывал старухе во дворце. Например, велел подойти к ожидавшим во дворе певичке и гулямчонку – ибо знал, кто скрывается под смазливой личиной юного слуги. Знал, что во дворец тайно проник нерегиль халифа Аммара. Знал, ибо умел прозревать истинный облик под наведенными чарами – даже очень сильными, наложенными опытной рукой чарами.

И хорошо, что не узнали, ибо это была не кто иная, как женщина в красно-золотом платье, сидевшая напротив Ваиля.

– Кто еще служил тебе в Басре? – раздался из угла тихий голос, на который разом обернулись и аптекарь, и женщина.

Ваиль смотрел на шевелившуюся в углу тень, мелко дрожа от страха. Увядаящая красавица в ало-золотом смерила вопрошающего лениво-презрительным взглядом.

– Вон там лежит, – наконец кивнула она в сторону сматанного ковра у дальней стены.

Словно в ответ на ее слова, сверток пошевелился и тихо застонал.

– Невольница, – пожала плечами женщина в роскошном платье управительницы харима, и серебряные шарики на висках сердито зазвенели.

Обладатель тихого голоса пошевелился, и на залитой желтоватым светом стене заколебалась его тень. Обладающее вторым зрением существо заметило бы, что тень не принадлежала человеку. Женщина в роскошном платье прекрасно видела, что у кармата длинномордая, ящеринная голова с невысоким, иззубренным гребнем. А из пасти то и дело высовывается раздвоенный длинный язык.

Ковер у стены снова пошевелился – так, словно внутри кто-то извивался. С вечерней улицы доносился привычный шум: цокот копыт, крики ослятников, шарканье туфель и пронзительный крик разносчика:

– А вот кому розовой воды! А вот кому воды с сахаром, правоверные, лучшая вода в квартале, подходите, вода не из канала, из колодца, с сахаром!

Тень в углу задергалась, шипя, удлиняясь и распуская иглы гребня на голом черепе:

– Ты безумна! А если бы ковер развернули?!

Женщина прищурила густо накрашенные глаза:

– Развернули подарок Ситт-Зубейды для сына Умм Мусы? Ты в уме ли?

– Но зачем было тащить ее сюда? Хс-ссс...

Управительница холодно отрезала:

– Я голодна.

Ящероголовый резко вскинул руку:

– Чуть позже.

– У меня мало времени, – прошипела кахрамана. – Меня ждут в хариме.

– Нерегиль остался на свободе, – так же, по-змеиному, зашипел в ответ кармат. – Он не должен возглавить армию!

– На свободе? – вдруг фыркнула женщина в алом – и звонко расхохоталась.

– На свободе!.. – закидывая голову в тяжелом серебряном уборе, смеялась она. – На свободе!..

Ящероголовый терпеливо ждал, пока кахрамана перестанет веселиться.

– Нерегиль не имеет ни власти, ни сторонников, – отсмеявшись, пояснила управительница харима. – Халиф ему не

доверяет. Полководцы его ненавидят. Нерегия халифа Ам-мара больше нет.

Кармат удовлетворенно наклонил голову: продолжай, мол...

И женщина снова накрутила локон на пальчик и, улыбаясь, проговорила:

– Есть нерегия халифа аль-Мамуна. А это маленький су-меречник, которому преданы лишь джунгары.

Язычок в ящериной пасти плотоядно задвигался туда-сю-да, и кармат довольно просипел:

– В аль-Ахсе нерегия лишится Силы, да-сс...

– Лишится, – улыбнулась карминным ртом женщина. – В землях Богини нерегию неоткуда ее черпать. А без силы от Тарика отвернется удача, и соперники отберут у него армию. Если, конечно, они не передерутся между собой раньше...

Ящероголовый медленно, довольно кивнул. И тихо доба-вил:

– Ты останешься в Басре и позаботишься о детях халифа, хс-сссс... Обо всех детях, всех до единого, хс-sss...

Управительница харима сверкнула глазами и расплылась в довольной улыбке. И вкрадчиво проговорила:

– Я голодна...

От оконного выступа раздался жалобный всхлип аптека-ря – тот сидел совершенно белый и блестящий от испарины. Карматский эмиссар с подбородка черный шарф – в глазах человека он отражался как ашшарит с сухим обвет-

ренным лицом морехода. Успокоительно покивав несчастному Ваилю, он улыбнулся женщине:

– Чуть позже.

Та сжала челюсти, перекатывая под кожей желваки. Кармат спокойно спросил:

– Во дворце знают о том, что произошло под Саной?

– Нет, – процедила кахрамана. И тут же свирепо ослабилась:

– Глупцы все еще ждут подкреплений из Хорасана!..

Ящероголовый довольно надулся и с шумом выпустил воздух:

– Прекрасно! Какова численность набранного войска?

– Чуть меньше тридцати тысяч – считая ополчение, – фыркнула женщина в красно-золотом.

Кармат удивленно раскрыл глаза – а потом счастливо, от души расхохотался.

Кахрамана сидела, презрительно улыбаясь, и вертела на пальце толстый перстень с агатом.

– Тридцать тысяч! – не унимался ящероголовый. – Тридцать тысяч! Они пойдут на аль-Ахсу с тридцатью тысячами!..

И, отсмеявшись, припечатал:

– Глупцы. Они умрут, не дойдя до Маджарского хребта.

Женщина прищурилась и тихо сказала:

– Я голодна.

Кармат улыбнулся, довольно потянулся – и небрежно отмахнул рукой:

– Раз так – кушай. Кушай-кушай...

Аптекарь пискнул и попытался отползти к окну.

Женщина не обратила на него никакого внимания. Текуче поднявшись на ноги, зазвенела украшениями и, шелестя платьем, поплыла к свернутому коврику.

Нагнулась, как нитку, разорвала стягивавшую сверток толстую веревку. Выпрямилась и одним пинком раскатала ковер. Из паласа выпала связанная по рукам и ногам женщина в ярко-зеленом платье. Набеленное лицо расчертили черные от сурьмы дорожки слез. Рабыня кусала глушившую крики повязку и судорожно дергала связанными запястьями.

Брякая монистами и подвесками, кахрамана опустилась на колени и аккуратно расправила широкие, жесткие складки яркого платья. Золотое шитье огненно вспыхнуло в мигающем свете лампы.

А потом управительница харима улыбнулась, счастливо вздохнула и широко разинула рот. Из-под губ поползли кривые, желтые зубы – сплошным, неровным, на полпальца торчащим частоколом.

Аптекарь пугано, с икотой и всхлипами, задышал, невольница, глядевшая на опускающуюся пасть широко раскрытыми глазами, заколотилась затылком о ковер, а женщина, еще мгновение назад бывшая кахраманой, вдруг встрепенулась, посмотрела на Ваиля и прошамкала сквозь выпущенные зубы:

– По-о-фок... По-о-фок... Фей-хель...

Тот визгнул и затих, уставившись на безобразно растянутый клыками рот:

– А... а?..

– Фенхелевый порошок, ишачий сын, – фыркнул из угла кармат. – Госпоже нужен фенхелевый порошок. Иди, отвесь.

Зубастая кивнула и вновь перевела взгляд на жертву. Кожа жуткого существа на глазах серела и собиралась в складки, волосатые уши поднялись и встали торчком, вокруг зрачков сгустилась гнойная желтизна. Невольница придушенно застонала, мотая головой с отчаянным «нет, нет, нет, только не это...»

На улице кричал, надрывался разносчик:

– А вот кому розовой воды, воды с сахаром!..

Гула распахнула пасть на немыслимую ширину и с тихим, блаженным урчанием наделась жертве на белое горло.

Ваиль как раз на четвереньках выползал из комнаты. Просовываясь под занавеску, он услышал за спиной влажный хруст, глухой вопль, треск и смачное чавканье. Обернуться он не сумел.

Гула рычала и с сопением что-то грызла.

Аптекарь ссыпался по лестнице, топоча и едва не выпадая из тувель, кинулся к шкафам, распахнул створки и тут же упал под тяжестью вывалившихся на него потоком коробок и ящичков. Из раскрывшегося при падении сундучка резко запахло камфарой. Лежа на спине и глядя в потолок, Ваиль всхлипнул и разрыдался. В комнате над головой тяжело за-

топали, раздались глухие удары – словно кто-то с размаху рубил мясную тушу. Аптекарь заливался слезами и не имел сил подняться на ноги.

Возникшее над ним смутное от слез лицо он приветствовал облегченной улыбкой. Кармат наклонился и покачал головой.

И поднес к носу Ваиля коробочку, от которой резко пахло анисом:

– Это фенхель?

Аптекарь судорожно закивал.

– Держи, – небрежно бросил кармат кому-то над собой.

И улыбнулся Ваилю, показывая блестящую джамбию:

– Молодец, вот так и лежи...

И по-хозяйски уперся ладонью в подбородок, отгибая аптекарю голову и примериваясь лезвием к гортани.

Краем слезящегося глаза Ваиль успел увидеть проползающий мимо ярко-красный шлейф – ткань с шорохом волочилась по полу, поблескивая широкой золотой каймой.

– Где мои носилки, о Зухайр? – донесся с порога лавки сварливый женский голос.

– А вот, госпожа, извольте пожаловать!..

– А вот кому розовой воды!.. – заорали на улице.

Кармат улыбнулся и одним точным движением взрезал аптекарю горло.

Басра, усадьба купца Джафара ибн Атыйя, утро

Занавеска в полукруге арки лениво обвисла. Кованая решетка балкона медленно нагревалась под неярким солнцем. Утренний свет быстро затянуло перистым маревом, и белесый кругляш небесного светила мягко просвечивал сквозь облака. Где-то далеко над морем тучи расходились, и яркие лучи шатром стояли между небом и водой.

На замыкавшем квадрат двора крытом мостике-галерее никого не было. Его резные перила, желтый камень низеньких колонн, крутой черепичный скат кровли плыли внутри пустой далекой панорамы: усадьба стояла на высоком холме и глядела на море, словно с чем-то прощаясь.

По нижней галерее кралась, то и дело озираясь, полосатая кошка.

Внизу мерно плескался фонтан. Мрамор небольшой круглой чаши на высокой ножке тепло поблескивал под солнцем. Фонтан казался странно одиноким в пустом желтом квадрате двора.

Угу-гу. Угу-гу. В ветвях старого кипариса копошилась горлица. Угу-гу.

Аль-Мамун глубоко вздохнул. И положил ладонь на колесо сидевшей рядом с ним женщины.

Он знал ее уже девять лет. Девять лет, подумать только. Девять лет назад он вошел в тот дом в западном квартале Нишапура: *махалля* издавна славился своими школами певиц и лютнисток. Абдаллах еще не был наследником. И правителем Хорасана тоже не был. Он был обычным богатым повесой восемнадцати лет от роду, проматывающим щедрые денежные подачки матери: содержание, положенное ему как сыну Харуна ар-Рашида, Абдаллах спускал в первые же месяцы после получения годовой выплаты, так что материно вспомоществование приходилось как нельзя кстати. В особенности в Нишапуре – городе, где даже завзятый постник и святоша превращался в кутилу и мота. Ах, нишапурские ночи в садах... А попойки – на качающихся над темной водой лодках, под смех лютнисток...

Абдаллах заметил ее среди других девушек – сразу же. Тогдашний друг его, Рафи ибн Хамза – коренной нишапурец и такой же бесстрашный искатель наслаждений – изрядно набрался и принялся выспрашивать хозяина о девушке: «Что за смуглянка? Берберочка? У-ууу, как сладко... и давно ее привезли из Магриба?..» А хозяин лишь улыбался и подливал вина. Придя в следующий раз, Абдаллах не увидел Нум: она пела в каком-то доме. Набравшись финиковым вином до головокружения, юноша расхрабрился и написал свое первое в жизни любовное послание. А потом еще одно. И еще. А ибн Хамза, у которого везде были свои люди и сводни, таскал их в тот дом и передавал Нум через знакомую невольницу.

На четвертое письмо Нум ответила.

Он ей послал вот такие строки:

Красавицу за своенравье напрасно корят пустомели;
Застенчивая, исчезает, чтоб вы на нее не глазели.
На небе своем безграничном к нам близкой луна не
бывает;
Спасаться стремительным бегством – врожденное
свойство газели...³

А она вывела на тонкой нишапурской бумаге:

Ты мою похитил душу, я теперь в степи безводной
Без души моей бессмертной, без надежды путеводной.
Только близостью своею ты спасешь меня сегодня,
И прославишься повсюду правотою благородной...⁴

И Абдаллах все ходил в тот дом, а Нум улыбалась, приоткрывая лицо. Ибн Хамза передавал письма на надушенной нежной бумаге. Через полгода хозяин счел, что обучение Нум завершено, – и предложил девушку на продажу. Абдаллах узнал об этом чуть позже, чем нужно: когда он примчался, ибн Хамза уже передавал хозяину деньги – в присутствии четырех положенных свидетелей. А потом взял Нум за рукав

³ Эти стихи написал ибн Хазм. Цит. по Ибн Хазм. «Ожерелье голубки» // «Средневековая андалусская проза». М.: Художественная литература, 1985.

⁴ Эти стихи принадлежат тому же автору.

и отвел к себе. Дружбе молодых людей, понятное дело, настал горький конец. Однако Всевышний, видно, прислушался к жарким мольбам Абдаллаха: дела ибн Хамзы пришли в расстройство – похоже, тому все-таки удалось промотать отцовское наследство. На этот раз Абдаллах не оплошал: он сторожил свою добычу, как ястреб. Подосланный им посредник ловко убедил ибн Хамзу продать двух невольниц красивее и помоложе – ради любви Абдаллах был готов заплатить за обеих. И через неделю переговоров – ну и после томительного месяца иштибра⁵ – Нум вошла в его дом, и раны любви исцелились единением.

Девять лет, все это произошло девять лет назад... А теперь у них двое сыновей – пяти и семи лет. Смуглое счастье мое.

– Мне так спокойно рядом с тобой, Нум.

Женщина повернула голову, нити подвесок качнулись и зазвенели. Массивные серебряные треугольники над ушами и длинные низки бусин смотрелись странно и грубо на прозрачной ткани платка.

Аль-Мамун тронул крошечную сапфировую гроздь:

– Я этого раньше у тебя не видел.

⁵ *Иштибра* – установленный шариатом срок в один месяц, который хозяин новой невольницы обязан выждать перед тем, как вступить с женщиной в сексуальный контакт. Месяц ожидания позволяет удостовериться, что рабыня не носит ребенка предыдущего хозяина. Закон связан с запретом «поливать своей водой чужой росток», то есть иметь близость с женщиной, беременной от другого мужчины.

– Мне прислали их... оттуда. Это семейная реликвия, подвески носила еще моя бабушка, – смущенно улыбнулась женщина.

– Прислали? Оттуда? – Аль-Мамун искренне удивился. И встревожился.

Племя берберов гудала, из которого происходила Нум, замирилось с аш-Шарийа совсем недавно – лет пятнадцать назад. Из окончившегося замирением похода Укба ибн Нафи привел семь тысяч пленных. Нум, тогда еще десятилетняя девочка, была среди них. С тех пор она ни разу не приезжала на родину – и, насколько знал Абдаллах, не поддерживала связей с семьей. Так откуда же...

– Да, – подтвердила она, безмятежно улыбаясь розовыми полными губами.

Смуглая, золотистая кожа – цвета густой сладости в спелых, истекающих медом сотах.

– Прости, я не предупредила. Я отослала мальчиков погостить к родственникам.

– Ты отослала Аббаса и Марвана в кочевье племени гудала? В пустыню?!

Подвески зазвенели, когда женщина снова кивнула:

– Да, Абдаллах. Но гудала никогда не кочевали в пустыне. Они всегда селились в холмах под Кайруаном, – и улыбнулась, широко раскрывая карие оленьи глаза.

– Нум, ты сошла с ума? Дети большую часть жизни прожили в Нишапуре! Что они будут делать в палатке посреди

коз и верблюдов?!

Женщина подняла звякнувшую браслетами руку и накрыла его ладонь своей:

– Прости. Но там им будет безопасней.

И виновато потупилась, отворачиваясь. Ее рука казалась еще тоньше в облегающем рукаве из полосатой ткани.

– Нум? – строго сказал он.

И стиснул тонкие смуглые пальцы.

– Что случилось?

– Прости. – Она опустила голову так низко, что белая ткань платка закрыла от аль-Мамуна ее лицо. – Два месяца назад Аббасу прислали отравленную одежду. Я посоветовалась с дядей и...

Оказывается, ты, Абдаллах, многого не знал о своей наложнице. В том числе и о том, что у нее есть дядя.

– С каким еще дядей, Нум?!

– Я разве тебе не говорила? – Она вскинулась с серебряным звоном. – Абу Муса – ну, мой управляющий... он мой дядя...

– Абу Муса? Мой вольноотпущенник из нишапурского имения?

– Ну да. – Длинные темные ресницы хлопали, как крылья испугнутой птицы.

– Что произошло, Нум? – строго сказал аль-Мамун и нахмурился. – Вы нашли виновных? Моего сына пытались убить – и ты говоришь об этом только сейчас? И то наутро?

Я спрашиваю! Виновных – нашли?

Она вся съежилась под просторной тканью верхнего платья.

– Нет, – последовал тихий ответ.

И прикрыла лицо платком.

На соседний балкон – там стояли большие горшки с олеандрами – сунулась невольница. Цветы полить.

– Пошла вон! – Аль-Мамун рывкнул так, что рабыня чуть не упала обратно в комнаты.

Нум окончательно сжалась в дрожащий комок.

– Прости... Прости меня, я не хотел тебя пугать... – Он обнял худенькие вздрагивающие плечи.

– Мне кажется, люди твоей матушки меня все-таки выследили... – прошептала женщина.

Он успокаивающе провел пальцами по хрупкому позвоночнику под шерстяной тканью:

– Ты не должна ничего опасаться. Никого и ничего не бойся – дом надежно охраняют.

Аль-Мамун успокаивал ее – и себя. Сам-то он не был так уж уверен в своих словах. Да, он поселил Нум в частном доме подальше от любопытных глаз. Но как он может поручиться, что среди гулямов охраны нет убийц, подосланных матерью? Или соглядатаев Буран?

Абдаллах чувствовал, как под ладонью стучает ее маленькое сердце – как у птички. Одинокой птички на ветке.

Прошлой весной аль-Мамуну пришлось отослать Нум из

столицы обратно в Нишапур: в день Навруза должно было состояться его бракосочетание с Буран.

Дочь Хасана ибн Сахля – брата погибшего от рук убийц вазира Сахля ибн Сахля – принесла халифу огромное приданое. Хасан внял тихим убедительным речам госпожи Мараджил. Аль-Мамуну сказали, что матушка говорила без обиняков: перепиши на дочку состояние покойного брата, о Хасан. Или мои дознаватели перепишут его сами – после того, как ты повисишь на дыбе в подвале моего загородного дома. Вазир Сахль ибн Сахль не мог скопить при жизни какие-то жалкие двести тысяч динаров – при таких-то взятках. Отдай деньги Всевышнего, о Хасан, или халиф заберет их у тебя именем Всевышнего. И Хасан ибн Сахль подумал-подумал, да и обнаружил у себя расписок и вкладов на три миллиона динаров. И щедро передал их дочери.

А помимо трех миллионов, свадьба с Буран принесла халифу примирение с хорасанской знатью: парсы дулись и даже грозились взбунтоваться после гибели ибн Сахля. Теперь все уладилось: брак эмира верующих с дочерью хорасанского вельможи умягчил сердца и умы, и о мятеже более не помышляли и самые горячие головы.

Дело оставалось за малым – наследник. Прошло полгода, а Буран пока так и не понесла. В очередной раз убеждаясь, что и в этот месяц невестка «спустовала», госпожа Мараджил приходила в ярость и вымещала эту ярость на Нум, благо расстояние позволяло – после знаменательной встречи

в садах ас-Сурайа аль-Мамун выслал матушку в Нишапур. Нум жила в усадьбе под городом, а госпожа Мараджил – в Шадяхе, но изводить «девку» у нее получалось прекрасно. Аль-Мамуну докладывали, что Нум то и дело вызывают во дворец – свидетельствовать почтение. Урезают содержание. Подолгу запрещают видеться с мальчиками. Наступление у Буран месячных – и крушение очередной надежды занять «настоящего» внука – обостряло мстительную фантазию госпожи Мараджил. Мысль, что халифат унаследует сын берберской рабыни, приводила матушку в бешенство. Матушку устраивал лишь на три четверти парсийский наследник престола.

Однако так далеко – отравленная одежда для Аббаса – госпожа Мараджил еще не позволяла себе заходить. Видать, пора отправить матушку подальше на запад. В земли клана Бану Марнадиш, к примеру. В какой-нибудь горный замок поближе к границе, куда даже голуби бариды не долетают.

Да, так он и сделает – напишет фирман прямо сегодня.
– Нум? Нум, ты слышишь меня?

Она жалобно покосилась, все еще прикрывая губы тканью. Глаза набухли от слез.

– Я вышлю мою мать в Хисн-аль-Сакр на западной границе. Ни тебе, ни мальчикам больше не придется ничего опасаться.

Нум всхлипнула, поставив брови домиком.

– А мальчиков верни, не хватало им там еще чесотку под-

хватить. Мои сыновья – в берберском кочевье, кому сказать – сочтет безумцем...

Женщина тут же перестала всхлипывать и нахмурилась:

– Ты будешь в походе, Абдаллах. Как ты можешь ручаться за их безопасность? Говорят, госпоже служит могущественный маг, он убивает людей на расстоянии, останавливает их дыхание и сердце!

– Тьфу на вас на всех с вашими бреднями! Нум, ты же образованная женщина! Тебя учили мутазилитскому каламу!

– А я не согласна с мутазилитским каламом!

На этом их богословские споры обычно заканчивались.

– Нум, подумай сама, своей головой. Ну если он убивает людей на расстоянии, то не все ли равно, в Магрибе наши дети или в столице?

– С гудала уже шесть лет ходит святой шейх-проповедник, – строго сказала Нум. – Никакому кафирскому колдуну не сдюжить против нашего святого!

– Нум! Ты же образованная женщина!

– Шейху служат птицы и звери! Окрестные племена одно за другим принимают веру! Шейх такие чудеса творит – ты бы видел!

Оставался последний довод:

– Ну хорошо. А если я оставлю в столице Якзана аль-Лауни?

– Якзана аль-Лауни? – Она распахнула глаза. – Ух ты... А правда, что он к тебе на доклад через зеркало приходит?

– Нум! Ты же образованная женщина!

– Ой, а правда, что Тарик...

– Нум! Я приказываю! Напиши своим родственникам... тьфу, они ж читать не умеют... словом, я приказываю вернуть моих сыновей в Баб-аз-Захаб!

– А Якзана – оставишь?

– Оставляю!

– Хорошо, я пошлю в Кайруан человека.

Слава тебе, о Всемогущий! Ты вложил в эту женщину стоворчивость!

– Абдаллах?

– Да?

– А правда, что Тарик непобедим?

– Что?!

– Ну, у нас рассказывают, что на нем заклятие: Всевышний отнял у аль-Кариа свободу, зато теперь он побеждает во всякой битве.

– Нум! Какая чушь!

– А его разбили? Хоть раз?

– Это еще ничего не значит!

– А что это значит?

– Он талантливый полководец! Ну и удачливый! Кстати, возможно, люди верят в эту легенду и его присутствие их воодушевляет – надо будет над этим подумать...

Абдаллах попытался погрузиться в размышления, когда его настигло это:

– Возьми меня с собой.

– Что?!

– Я – хочу – быть – с тобой.

Когда Нум говорила с таким мрачным упорством, у нее выпячивалась нижняя губка.

– Нет. Нет!

– Но...

– Нет! Ты боишься за детей, а сама хочешь отправиться со мной в военный поход! Нум, ты же...

– Я – хочу – быть – с тобой!!!

– Тогда жди меня в столице, Нум!

Она разрыдалась, вскочила и убежала в комнаты. Ну вот так всегда.

* * *

Каср аль-Джунд,

тот же день, некоторое время спустя

Госпожа Тумал шла по краю негостеприимно-холодного, зимнего пруда. В зацветшей воде лениво помахивали хвостами толстые красные рыбины. Женщина недовольно покосилась в зеркало воды: мда, надо отказываться от плова с бараниной, эдак ни одно платье под грудью не сойдется.

А платье *кахрамане*, управительнице харима то есть, положено богатое. Ткань такую – желто-красную, толстую, в

три слоя, поверху сплошь изузоренную, – выделявали только на государственной мануфактуре в Фустате. И только для нужд двора. Заслужить надо еще право на платье из такой ткани. И на кайму из золотой нити – в ладонь толщиной – тоже надо право заслужить. Да.

Госпожа Тумал усмехалась: ишь ты, собрались они там у себя в Большом дворе. Ишь ты, собрались. «У нас дела государственной важности!» Ишь ты! Кахрамана имеет право выходить из харима и входить в харим во всякое время! На мужскую половину ходить! С открытым лицом! В город выезжать! По лавкам за покупками! В особых носилках, в особом платье, да! И плевать ей, Тумал, на всякие ихние советы государственной важности! Ишь ты! Госпожа Буран составила список нужных вещей и просьб: галийи нет уже! Запас мази из алоэ почитай что исчерпан! Арапчонка желает иметь госпожа для услуг! Подарки для факихов купить надо! Опять же жалоб сколько! И все на богомерзкую кафирскую кодлу, на *хурс* этот сумеречный – хамят! Двери харима запирают, ключи уносят! Везде шныряют, всюду нос суют! Шпиёнов, понимаешь, ищут! Дурачье – шпиёны им на женской половине привиделись! Да они сами шпиёны, это ж по роже видно, рожи одна другой поганее, все как один на мертвеца похожие, бледномордые твари аураннские, тьфу! Один огрызнулся – Акио его, что ль, звали? Ну что за имя такое собачье, Акио, тьфу, его Азимом, как человека прозвали, ан нет, не отзывается на Азима, – так она велела пал-

кой бить. Чтобы впредь не огрызался, сволочь неверная. А сегодня другой такой же, ну чисто утопленник бледностью, аж синюшный весь, не пустить ее пытался в Большой двор – а-га... Совет там, понимаешь, у них. Так она на него как гаркнула в том смысле, что пусть дружка своего спросит, как спина после пятидесяти палок чешется, прям отпихнула и во двор вошла! И еще прям по картам энтим ихним дурацким протопала и прям на подушку села, рядом с вазиром этим новым ихним. Тоже мне вазир, ни бороды, ни живота, мальчишка-молокосос, выскочка. Куда такому тайной стражей ведать? Госпожа Буран так и сказала: «Эээ, у него еще мозгов нет, мозги человек к пятидесяти приобретает! Где борода – там и ум!» Да. И вазир этот ей, главно дело: вы извините-подвиньтесь, мы щас про алоэ с арапчатами решать не можем, у нас тут дела государственной важности, судьба, понимаешь, аш-Шарийа, решается. Да-да-да. А как певичку незнамо от кого брюхатую привезти к халифу в харим – это у них дела неважные, да. Ладно, сказала она, я уж трех факихов пригласила, они разберутся, когда Арву эту камнями нужно бить и где. Плюнула прям в карты ихние и пошла – обратно в харим, чего уж там, поздно в город-то уже. Тоже мне государственные мужи-военачальнички, смешно смотреть. Один парс, другой бедуин, третий старикашка – ни одного знатного приличного человека, тьфу. Нерегиля, правда, она не увидела – а страсть как любопытно было посмотреть. Ну и шейха из ар-Русафа тоже не было – и что теперь ска-

зять госпоже? Она ж с нее, с Тумал, шкуру спустит за то, что нечего рассказать-то. Ну ладно, расскажем, как новый вазир одет был. Говорят, кобель, каких свет не видывал. Тут давеча имущество казненных мятежников распродавали – так он накупил девчонок, чуть не с дюжину. Ох, кобель, ох, кобель... знаем, как судьбу аш-Шарийа ты решаешь, все больше зеббом девкам между ног тыкаясь...

Сопя и поправляя на груди края платья, управительница вступила в Малый двор.

Подумала-подумала, да и свернула в комнаты госпожи Зубейды. Умм Муса, вторая кахрамана, в последнее время сидела там подолгу – а с чего бы? А и правильно, с другой-то стороны, там спокойнее. Ситт-Зубейда – женщина строгая, но справедливая. Сумеречников к себе в комнаты мать покойного халифа не пускала: так и сказала, что плевать ей, человек перед ней или нет, а мужику при зеббе на ее ковры не ступить. А то ишь что придумали: мол, ежели у аль-самийа из *хурс* контракт и в нём запрещено непотребное, так они, мол, контракт подписавши, прям и глазом в сторону женской жопы или там сисек не стрельнут. Ага, как же. Мужик – он и есть мужик, будь он трижды с утопленной мордой.

Войдя в приемную, Тумал милостиво позволила снять с себя туфли. Ее тут же подхватили под руки и отвели в следующую комнату. Плюхнувшись на подушки, кахрамана с наслаждением вытянула ноги. Две девчонки тут же принялись разминать ей ступни. Хорошие пальчики, сильные, да-

же сквозь зимние шерстяные чулки чувствуются.

– Мир тебе, сестрица.

И Умм Муса мягко опустилась по ту сторону чайного столика. Поскольку столик вдвинули под правый локоть – над ногами все еще трудились девочки – Тумал пришлось аж вывернуть шею, чтоб туда посмотреть. В последнее время под затылком и в спине побаливало, да и в голове шумело, когда шею-то поворачиваешь.

– И тебе мир от Всевышнего, сестрица. Как Матушка?

– Нездоровится госпоже. Горе ее точит и мучает.

Тумал понимающе покивала. Сипнув, потянула из пиалы горячий чай. Заела кусочком пахлавы. Вытирая липкие руки о платок, снова покивала. Ну да, горе-то, горе-то какое. Эмир верующих лишил своего благоволения принца Ибрахима! Говорили, что госпожа Зубейда аж места себе не находит с того страшного дня, как обвиненных в заговоре в саду Умм-Касра прикопали. В другой дворец после того переехали: а что ж, жить, что ли, с таким садом? Принца Всевышний избавил от страшной смерти: вроде как Ибрахим аль-Махди припозднился, а уж у причала нужные люди об опасности предупредили. Но не вечно же ему скрываться от халифского гнева?

– А что слышно по делу этой блудницы? – со своей стороны столика осведомилась Умм Муса. – Экая же наглость, и о чем только думала эта Арва...

И тоже с шумом потянула чаек.

Чего-то в последнее время исхудала сестрица, подумала Тумал. Да и цвет лица стал бледноватый, землистый. Подавив стон, кахрамана отвернулась: ох шея, ох болит. И еще эти подвески здоровенные лоб тянут и брякают: почетно, конечно, но уж больно тяжелые. Целая гроздь чеканных серебряных кругляшей у каждой щеки, по шее такое же ожерелье – хорошо, что бусины, каждая с персиковую косточку, полые, а то как нагибаться и разгибаться... Ну и обруч в три пальца шириной – ох давит лоб, ох давит...

– Так что же сказали почтенные законоведы? – не унималась Умм Муса. – Я-то в город отлучалась, по поручению госпожи нашей, не пришлось послушать. Все аптеки оббежала – фенхелевый порошок понадобился Матушке, я и искала...

– Уважаемые факихи опрашивали невольниц, – важно покивала Тумал. – Четыре девушки подписали свидетельство, что у блудницы месячные отошли еще в Медине. Одна так и вовсе сама ее шальвары стирала – штаны-то белые, говорит, на них все видно.

Умм Муса звучно сёрбнула чаем и крякнула:

– Да-аа... а кто ее валял по дороге, не сказали?

– Нет, – откусила пахлавы Тумал.

И тут же сморщилась: тьфу, миндальная. Она такую не любила.

– Почтеннейшие шейхи, – прожевав, продолжила Тумал, – согласились с тем, что, возможно, эмир верующих сде-

лал Арву беременной. Они привели хадис: «И нескольких раз довольно». Ну, для того, чтоб женщина понесла.

– А сколько раз было?.. – оживилась Умм Муса.

– Два, – хлюпнула чаем Тумал. – А так только пела...

Умм Муса покивала, забрякав подвесками. Воодушевившись, Тумал решила щегольнуть осведомленностью:

– Но потом уважаемые факихи спорили относительно слова «несколько»! А там ведь непросто все! Ведь рассказал нам аль-Харис ибн Мискин, что поведал нам Ибн аль-Касим со слов Малика ибн Анаса, который сказал: «Несколько – это между тремя и семью».

– Воистину так, – важно согласилась Умм Муса.

– А еще рассказал нам Асад: поведал нам Абдаллах ибн Халид, передавая слова аль-Калби, который пересказал сообщение Абу Салиха со слов Ибн Аббаса, который сказал: «Несколько – это между пятью и семью».

– Это еще дальше от двух, – фыркнула женщина с другой стороны чайного столика.

– Однако же есть и еще мнение, – важно подняла палец Тумал. – Рассказал нам Асад: поведал нам Ибрахим ибн Са'д со слов Абу-л-Хувайриса, что Посланник Всевышнего – да благословит его Всевышний и да приветствует! – сказал: «Несколько – это столько, что составляет от одного до четырех».

– Мда, сложный случай, – вздохнула Умм Муса.

Тогда Тумал решила еще раз блеснуть ученостью и заме-

тила:

– А по мне, так надо вот какой хадис вспомнить: «И камни от неправедных недалеко». Госпожа Буран требует, чтобы с блудницей поступили по законам праведности, да.

– Истинно, истинно так: совершающий блуд подлежит побиению камнями, – звякнула подвесками Умм Муса и снова сёрбнула чаем.

И тут мир взорвался.

В соседних комнатах что-то грохнуло, а за грохотом последовал истошный визг:

– Ааааааа, кто сюда его пустил?! Уберите это! Брысь! Брысь! Шайтан, ааааа!!!!

Тумал чуть пиалу не выронила.

Гвалт несся в их направлении:

– Ааааа! – Вопль стоял дикий. – Ловите! Ловите его!!! А вот тебе! Нна! Получай, о бесстыжий!

Трах! Бах! Бах! Тарарах!

– Не смей швырять в меня лампу! – раздался новый вопль. – Аааа!

Тумал таки выронила пиалу – голос был мужской.

– Не смей лампой кидать, говорю! Ааааа, зашибет! Она зашибет меня, аааааа!

– Получай, охальник!!

Бах! И звон меди.

– Протестую-уууууу!!

Бах! Бах! В ход пошла еще и посуда.

– Мерзавец! Убирайся! Это харим!

– Аааааа!

Бдыщ! А вот это был, наверное, стол.

– Убиии-ила! Аааааа!

– Всевышни-иий! Да что ж это такое! Сумеречники! Мамочки, помогите, сумеречники!

– Убирайтесь вон, бесстыжие рожи!

Бах! Бах!

– Мьяаааа! – орал кот.

– Не трогайте котика! – орал сумеречник.

И знакомый сумеречник, надо сказать: мало тебе палок было, Азимка, гаденыш, щас ты у меня...

Бах! Бдыщ!

– Нет! Нет! Только не вазой! Это аураннский фарфор, династия Лэйан! Ааааа!

Бздряк! И нету больше вазы... Ну все, Акио или как тебя там, сегодня вечером ты на зад не сядешь. Бах! Бах!

– Аааааа!

И в комнату влетел здоровенный черный кот, а следом за котом – медное блюдо. Баммммм! За котом, кубарем – сцепившиеся девчонка и сумеречник, две визжащие рабыни, еще сумеречник и еще блюдо – баммм! Посудина с протяжным звоном долбанулась о стенку над головой Тумал, кот сиганул на стол, стол был мокрый, кот с диким мявом уехал вместе с чайником:

– Мьяаааааа!

Бдыщ! Животное обрушилось со стола вместе с подносом с посудой.

Девчонка со всей мочи тузила сумеречника, другой ауранец пытался оттащить ее за платье, Акио верещал:

– Ай-яй! Не надо! Ай! Ай! Не троньте котика, он просто выпил лишку!

Над краем стола показалась кошачья морда и, раззявив пасть, заорала:

– Я – выпил лишку?! Да я трезв, как стекло!

– Аааааа! – заорала Тумал. – Джинны! Помогиии-теееее!

– Н-на! – Кувшин мелькнул прямо у кахраманы перед носом и впечатался в морду кота.

Кот улетел в стену.

– Мьяааааа! Убиии-лиииии!!! Убили поэта! Ты убила поэта, о несчастная!

Отчаянно вереща, котяра выпростался из-под сплющенной меди и со всей мочи хлобыстнулся передними лапами об стол:

– Умейма! Ты покинула меня, о неверная! Моя тоска безгранична!

– Пощадите пьяную кошечку! Аааа! Положите подставку! Ой, не надо! Не надо бить меня этим, это черное дерево, оно очень твердое – аааа!

Бдыщ!

Кот прыгнул на занавеску и полез по ней вверх, раздирая ткань и отчаянно вереща:

– Умееей-маааа! При-дiiiiiiii!

Рабыня замахнулась табуреткой – и пискнула, застыв с вывернутой рукой. Сумеречник держал ее, растопыренный кот повернул ушастую голову:

– Гула. Ближе к арке.

И спрыгнул наземь.

– Я вижу тебя, клянусь Хварной, я тебя вижу... – шептал джинн, дергая хвостом.

Кожей Тумал почувствовала: с той стороны чайного столика что-то изменилось. Изменилось-изменилось. Девчонки тихо ахнули и обмякли. Топорща шерсть, кот скалился и шипел. С *той стороны* тоже шипели. Тумал оцепенела от ужаса. Повернуть голову и посмотреть она не могла.

Длинные мечи в руках сумеречников смотрели остриями в ее сторону. Щурясь и прижимая уши, ауранцы мягко крались к чайному столику. К ней. К Тумал.

– Ази-иим... Не наа-адо-ооо...

Справа злобно рычало.

– Умри, сука!!! – заорал кот, вспыхивая как солнце.

Справа завизжало, Тумал завизжала следом, над головой страшно свистнул меч.

Разлепив глаза – не сразу, ибо *оно* визжало долго, с пронзительной мукой, словно выворчиваясь наизнанку, – кахрамана увидела, что сумеречники уже не крадутся. И даже не стоят. Один – имени его Тумал не знала – сидел и тяжело дышал, опираясь на меч. С рыжих волос капал пот. Самийа

кашлянул. Потом кашлянул еще раз.

Акио она разглядела следом: сумеречник сидел, привалившись к колонне арки, и весь дрожал. Лицо его было залито кровью, и он судорожными движениями размазывал красное по лбу и щекам. Рукав, рубашка на груди – все текло красным.

На окоеме зрения что-то мешало, странно двигалось в сторону изнанки века. Тумал, дрожа вместе с сумеречником, посмотрела... *туда*. На другую сторону чайного столика.

Там... торчало. Изогнутыми желтыми когтями. И длинными кривыми зубищами – во всю раззявленную в последнем крике пасть. На серой шерстистой лапе блестели серебряные запястья кахраманы. Двухцветное платье из фустатской ткани теряло золото, заплывало алым.

– Прибери меня, Милостивый, – тихо пробормотала Тумал и погрузилась в милосердное черное забвенье.

* * *

– ...Жить будет? – жестко спросил аль-Мамун лекаря.

Тот невозмутимо собирал в таз вымокшие в крови повязки. Впрочем, возможно, то была не кровь, и Абдаллаху совсем не хотелось думать, что это могло быть. Лицо и грудь Акио скрывала пропитанная мазями ткань, а уж что скрывалось под тканью, Всевышний знает лучше. У гулы ядовитая, едкая кровь, сжигающая кожу и мышцы не хуже кислоты в

ретортах алхимиков.

– Он выживет, о мой повелитель, – равнодушно пожал плечами ибн Бухтишу. – Выживет.

Лысина лекаря – как все язычники-сабейцы, он не носил тюрбана – блестела от пота. Хотя сумеречник мужественно перенес перевязку: не царапался, не кричал. Только простынь когтил.

– А... второй?

Абдуллах не помнил сумеречное имя второго самийа. Во дворце его прозвали Бакром, но аль-Мамуну совестно было называть рабской кличкой того, кто стоял у порога смерти и готовился сделать последний шаг.

– О Нуалу я пока ничего сказать не могу, о мой повелитель, – сухо ответил ибн Бухтишу.

Тихий вскрик за занавеской заставил обоих обернуться.

– Нуалу?... Нуалу!

И ледяной голос растаял причитаниями – совсем по-человечески: зачем, зачем ты ушел, как горько и обидно видеть тебя мертвым, ты бы вернулся...

Лекарь отдал таз ученику и устало вытер пот рукавом.

– На нем не было ни царапины, – сглотнув, тихо сказал аль-Мамун.

– Гула, – все так же устало пожал плечами сабеец. – Сильная, старая гула. Если б не джинн, ее б так и не разглядели. Очень, очень сильная гула...

– Как давно она здесь?.. – пробормотал Абдаллах. – И где

настоящая...

– ...Умм Муса, повелитель? – отирая руки платком, спросил лекарь.

– Да.

– Кахрамана Умм Муса мертва, – твердо сказал ибн Бухтишу. – Гула принимает облик существ, чью плоть и кровь ей удалось отведать.

– Выходит...

– Гула подстерегла и убила госпожу Умм Мусу, чтобы принять ее облик, – уверенно сказал лекарь и передал полотенце ученику.

Вот интересно, откуда он это все знает, подумал Абдаллах. Читал в ученом трактате «Об обычаях и нравах гул»? Поистине, здесь творится нечто невыносимое... Да помилует нас Всевышний, карматским шпионом на женской половине оказалась – гула! О Милостивый, гула! Разве подобные твари не населяют лишь детские сказки?!

– Что-то вокруг меня одни волшебные существа, – мрачно пробормотал аль-Мамун.

– Подобное положение дел требует осторожности и осведомленности, повелитель, – так же мрачно отозвался сабец. – Убивать волшебных существ себе дороже, о мой халиф, – так у нас говорят. Смертельный удар всегда возвращается тому, кто его нанес. Всегда. Чем сильнее существо, тем сильнее ответный удар.

– Сумеречники тоже волшебные существа – и что же? –

мрачно поинтересовался аль-Мамун.

– Именно поэтому, мой повелитель, мы, сабейцы, с нами не враждуем. – И звездопоклонник сжал зубы так, что на скулах заходили желваки.

Аль-Мамун лишь пожал плечами. Горестная отходная за занавеской завершилась. Похоже, сидевший у изголовья сумеречник зажал себе рот ладонями: за тонкой, лампой подсвеченной тканью лаонец виделся скрюченной тенью, только хвостик на затылке вздрагивал.

– Акио, в своем роде, повезло, – тихо пояснил ибн Бухтишу. – Он всего лишь полоснул гулу мечом и забрызгался кровью. А Нуалу нанес чудищу смертельный удар – и пал жертвой вырвавшихся на свободу энергий...

В голове царапнулась какая-то мысль. Что-то он, Абдаллах, должен спросить важное – вот про эти энергии. Что-то с этим смертельным ударом нужно прояснить...

– О мой повелитель! – Его почтительно подергали за рукав.

Гулямчонок широко раскрыл густо накрашенные глаза:

– Госпожа ждет, ой ждет госпожа, почтительно просит не забыть о ней этим вечером...

Да. Так что же с этим ударом?.. Тьфу, пропасть, мелькнуло и забылось. Ладно. Потом вспомним.

А сейчас нужно идти к Буран. О Всевышний, подай мне мудрости и терпения...

Пахлава плавала в мелкой лужице меда на самом дне фансового блюда. Шекинская – сверху толстым слоем лежала прозрачная сеточка ришты с шафрановыми узорами. Хотя знающие люди говорили, что за шекинской пахлавой нужно ехать в Шеки. Ну или в столицу, про себя добавлял аль-Мамун: на беговых верблюдах лакомство привозили во дворец менее чем за полдня. Морскую рыбу из устья Тиджра везли, кстати, дольше, – но там и расстояние было побольше.

Под заискивающим взглядом жены аль-Мамун подцепил вилкой серо-бурый кусочек в липком сиропе.

– Вкусно, – прожевав, похвалил пахлаву.

Буран просияла:

– Ой, я такая радая, такая радая... Кахрамана новая, думала, совсем будет бестолочь, ан нет, нашла лавку, хотя знаешь, Абдаллах, говорят, там шайтан ногу сломит, в этом квартале ихнем ардебильском, такая смышленная, да, хоть и молоденькая совсем...

И осеклась. Ага, испугалась, что наговорила лишнего – про молоденькую. Точно, точно, испугалась – и заревновала. Белые пухлые пальцы мяли край длинной пашмины – еще и разозлилась. Похоже, недолго Шаадийе ходить в кахраманах, Буран не потерпит рядом с собой красивую и умную девушку. Ей нужны такие, как толстая Тумал и Умм Муса эта,

тупая и...

Ох ты ж, Умм Муса... Да будет тобой доволен Всевышний...

Словно подслушав его мысли, Буран решила поплакать. Растекаясь сурьмой с век, она завсхлипывала:

– Абдаллах, мне так страшно, ой так страшно! Кто ж мог подумать, что нету больше Умм Мусы, а на месте ее... ыыыы...

Невольница кинулась с платочком, Буран грубо ее отпихнула – убирайся, мол. И завытиралась собственным, из рукава вытащенным, кусочком ярко-зеленого хлопка.

– Ну... – аль-Мамун попытался собраться с мыслями – супругу все же следовало утешить, – ну... бывает...

Мда, отлично получилось. Буран разрыдалась в голос.

– Ну... Буран... ну... не плачь, пожалуйста!

– Ыыыыы... ты меня совсем не лю-ууу-биии-ииишь... ыыыы...

– Ну... ну... что я могу для тебя сделать? Хочешь арапчонка? Мне вот говорили, что ты хочешь... Давай подарю тебе арапчонка – будет бегать за тобой, зубами блеснуть, а?..

Тут Буран притихла. Посопела, сморкнулась, снова посопела. Вытерла черные потеки под глазами. И вдруг выпалила:

– Прости, пожалуйста, своего дядю!

От неожиданности аль-Мамун выронил вилку. Она звонко тренькнула о фаянс блюда.

– Что?!

– Прости принца Ибрахима аль-Махди, о мой господин! – Жена горестно подняла брови домиком. – Пожалуйста...

– Буран, кто тебя попросил попросить... тьфу... короче, кто тебя попросил об этом?!

– А... я...

– Отвечай!

Буран заколыхалась броней ожерелий на груди, застреляла глазами:

– Ну... ну...

– Это была я, сынок. Это моя просьба.

Голос Ситт-Зубейды прозвучал ровно, но глуховато, словно сквозь платок.

Ее лицо до самых глаз действительно закрывала темная непрозрачная ткань. Впрочем, чему тут удивляться: госпожа Зубейда блюла приличия, как и подобает знатной ашшаритке. Сын мужа от другой женщины был для нее не *махрам*⁶ – при нем ей не подобало снимать хиджаб и открывать лицо.

Черная глухая абайя, черный платок – даже без каймы. Темные глаза под узенькими щипаными бровями – с темными кругами, набрякшими веками. Ситт-Зубейда с шелестом черного шелка опустилась на подушки рядом с Буран, и та сразу сжалась и поникла.

– Когда ты вошел в столицу, Абдаллах, помнишь, что я

⁶ *Махрам* – это каждый из мужчин, которым запрещено жениться на данной конкретной женщине (то есть близкие и молочные родственники). С ними женщина имеет право оставаться наедине и путешествовать.

тебе сказала?

Темные неподвижные глаза, губ не видно – платок.

– Я помню, моя госпожа. Вы написали, что потеряли одного сына – и взамен приобрели другого.

– Да, Абдаллах. Теперь ты – мой единственный сын. И единственная надежда.

Аль-Мамун вежливо кашлянул, отводя глаза. Буран сидела, боясь дохнуть и звякнуть драгоценностями. Огонек большой ароматической свечи мягко золотил динары на ее лбу. С виска, из-под уложенной стрелкой пряди черных волос, поползла капелька пота.

Ситт-Зубейда сидела спокойно и расслабленно. Чуть колыхался в тонкой руке большой веер из страусовых перьев.

– М... матушка, – аль-Мамун опять кашлянул. – По правде говоря, я не вижу причин для того, чтоб помиловать предателя.

Она резко сложила веер:

– Не смей меня, Абдаллах. Предателя... Дурака, ты хотел сказать. Дурака.

– Он брал деньги от связанных с карматами людей.

– Твой дядя, Абдаллах, даже не знает, кто такие карматы. Точнее, он думает, что это такое бедуинское племя, поднявшее очередной бедуинский мятеж. Он поэт и бабник, а не заговорщик. Пощади брата отца, сынок. Я прошу тебя – пощади.

– Зачем? – аль-Мамуну уже порядком надоел этот разго-

вор.

Взгляд черных, как маслины, глаз уперся ему в переносицу:

– Что будет, если ты погибнешь?

Бурани придуженно вскрикнула:

– Матушка!

– Выйди, Бурани, – резко сказал аль-Мамун.

Супруга всхлипнула, поджала губы, но со звоном и звяканьем поднялась и ушла.

Женщина в черном все так же неотрывно смотрела Абдаллаху в лицо. Слова выходили словно и не из ее укрытых тканью губ:

– Аббас и Марван еще очень малы. Им уже не три года, но пять, семь лет – опасный возраст. Любая простуда...

И женщина все так же – из ниоткуда, словно и не она – вздохнула.

Аль-Мамун стиснул зубы. Он понял, куда клонит госпожа Зубейда.

– А Бурани так и не понесла от тебя.

– Пока не понесла.

– Если ты не вернешься, у халифата не будет совершеннолетнего наследника, – резко сказала женщина в черном. – В государстве, лишенном наследника трона, начинается смута.

– Поэт и бабник, вы сказали, моя госпожа?

– Поэт и бабник – это лучше, чем два мальчика, жизнь которых подобна мотыльку-однодневке. К тому же у принца

Ибрахима есть двое совершеннолетних сыновей и еще с пяток малышей. Среди них даже белые есть...

И уголки ее глаз собрались морщинками.

– Будет из кого выбрать? – резко спросил аль-Мамун.

– Казнишь Ибрахима – выбирать будет не из кого, – жестко ответила она.

– Я не...

– Дети казненного – не жильцы. Не обманывай себя. Разве ты хотел, чтобы умер маленький Муса?

Аль-Мамун медленно вытер липкие пальцы о полотенце.

И сказал:

– Я подпишу фирман о помиловании, моя госпожа.

Отбросил полотенце, встал и вышел из комнаты.

* * *

Ипподром Басры, тот же вечер

Вечерние тени колонн длинно тянулись, расчерчивая полосами волнующийся строй бедуинских всадников. Ветер бил порывами, встряхивая полы джубб, дергая за рукава рубашек. Поблескивали острые макушки шлемов, колыхался легкий лес бамбуковых копий, кони дергали головами и присаживались на задние ноги, пятясь.

– В ряд, все в ряд, мы строимся в ряд!

Абдаллах ибн Хамдан Абу-аль-Хайджа злился и дергал

узdecky белого злого сиглави. Конь кивал мордой и скалил зубы, топчась и брызгая из-под копыт крупным песком.

– В строй! – Шейх таглиб развернул коня боком, пихаясь стремя в стремя, загоня вертящихся бедуинских всадников в линию.

– В строй, я сказал!

Ибн Хамдан, послав сиглави вперед, толкнул в грудь выдвинувшегося из линии всадника. В ответ тот пихнул в грудь Абу-аль-Хайджу и разразился возмущенными криками:

– Ты сделал меня притчей во языцех среди детей ашшаритов, о враг веры! Племя гафир никогда еще не подвергалось такому оскорблению!

Сломав ряды, всадники в белых тюрбанах и полосатых бурнусах гафир подались вперед и замахали на ибн Хамдана рукавами:

– О незаконнорожденный! Ты оскорбил благородного сына Абу Салама ибн аль-Хакама!

Шейх таглиб покаянно мотал головой в черно-белой куфии и прижимал к сердцу правую руку:

– Я прошу прощения! Я дам бану гафир щедрое возмещение за мой проступок!

– Возмещение! Да, возмещение! Отдай коня!

– Отдам коня!

Ибн Хамдан поднял вверх ладонь и крикнул еще громче:

– Клянусь Именем «Подающий жизнь»! Я отдам коня в возмещение за оскорбление!

Недовольно ворча и поправляя ремни щитов, гафири развернули коней и закрутились, ища места в гомонящих шеренгах всадников.

Через некоторое время бедуины сумели образовать неровный, но отчетливый строй глубиной в шесть рядов.

Абу-аль-Хайджа обернулся к противоположному краю ристалища. Его всадники вытянулись, почитай, во всю длину арены. Впрочем, ширина была тоже немалой – шестьдесят локтей. За озером взрытого песка уходили вверх ряды каменных скамей, а над ними торчала битым кирпичом недостроенная стена: ипподром Басры принялись расширять, но за военными приготовлениями не завершили дело. Скамьи сложили, а стену пока нет. Сейчас сиденья и иззубренные каменюки пестрели джуббами и халатами – народу на ипподроме пришло порядочно. А как же, нерегиль халифа Аммара смотр войскам устраивает, интересно же.

Затем командующий бедуинской конницей посмотрел на залитые вечерним солнцем скамьи над собой. Они пустовали. По большей части. Потому что в середине одного из верхних рядов, привалившись к каменной спинке и вытянув длинные ноги, сидел Тарик. Глаза слепило, но Абу-аль-Хайджа хорошо видел, что нерегиль неспешно кидает в рот семечки и сплевывает шелуху через плечо. Ну и кривит, словно укуса глотнул, бледную морду. Рядом на теплом камне в немыслимой позе – брюхом вверх, передняя лапа вертикально задрана, задние блаженно растопырены – валялся черный

котище-джинн. Блюдо с семечками держал в перепончатых лапках мелкий джинненок, которых сумеречники называют пикси.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.